

ЕВГЕНИЙ КОСЯКОВ

ПОПРАВКА К ПРОШЛОМУ

W. 44 ST

HOTEL

ALGONQUIN

1954
НЬЮ-ЙОРК
ПАМЯТЬ МОЖНО
ИСПРАВИТЬ

09:54:13:54

АРХИВ

НЬЮ-ЙОРК, 1954
ОТЕЛЬ «АЛГОНКИН»
ДЕЛО № 44-17-К
ДЕЛО КОСЛОУ

Следователь: Артур Хейз
Корреспондент: Элен Морроу

Изменение свидетельств
Исправление записей

СЕКРЕТНО

13 октября 1954
Нью-Йорк.
Дождь.
Память — как вода,
чем глубже,

Евгений Косяков

Поправка к прошлому

<https://litres.ru/73869661>

SelfPub; 2026

Аннотация

Нью-Йорк, 1954 год.

Детектив Артур Хейз расследует убийство в отеле на Западной сорок четвёртой улице и быстро понимает: улики ведут не только к преступнику, но и к чему-то гораздо более страшному — к переписанной памяти, исчезающим версиям прошлого и людям, которые умеют менять ход времени.

Чем глубже Хейз погружается в дело Кослоу, тем яснее становится: правду здесь нельзя найти обычными методами. Потому что свидетели помнят разное, записи меняются сами собой, а прошлое сопротивляется тем, кто пытается его удержать.

«Поправка к прошлому» — атмосферный нуарный роман о памяти, любви и цене, которую приходится платить за право сохранить себя.

Евгений Косяков

Поправка к прошлому

Память — последняя крепость, из которой человека нельзя выгнать, пока он сам не откроет ворота.

Евгений Косяков

Глава 1

Дождь на Западной сорок четвёртой

Дождь шёл с полудня и к девяти вечера стал мелким и злым, какой бывает в октябре, когда Нью-Йорк ещё помнит сентябрь, но уже готовится к ноябрю. Вода стекала по вывеске «Алгонкина» неровными дорожками, размывая жёлтый свет в чёрные лужи на тротуаре. Артур Хейз вышел из полицейского «форда», поднял воротник пальто и остановился на секунду — не от дождя, а чтобы запомнить эту минуту. Он всегда делал так на местах, где его ждал труп. У каждого убийства есть собственный воздух, говорил он себе, и если вдохнуть его в первое мгновение, потом легче отличать правду от лжи.

Воздух у «Алгонкина» пах мокрым асфальтом, бензином и почему-то яблоками — в переулке стоял фургон бакалейщика, и один ящик был открыт. Хейз отметил ящик, фургон,

номер на двери — привычка, от которой он давно не пытался избавиться. Он помнил номера машин, обои в коридорах, узор на чужих галстуках. В управлении это называли даром. Сам он называл это профессиональной болезнью.

— Детектив Хейз. — Молодой патрульный у входа отдал честь торопливо, как будто боялся, что его осадят за неловкость. — Восьмой этаж, номер 812. Там уже Петерсен и наш фотограф.

— Кто нашёл?

— Горничная. Около восьми. Говорит, дверь была приоткрыта.

Хейз кивнул и прошёл в вестибюль. Снял шляпу, стряхнул с неё воду, положил на стойку. Портье — сухой человек лет шестидесяти, с аккуратным пробором и щёткой усов — поднял на него глаза и сразу опустил, как будто увидел в нём что-то неприятное и знакомое.

— Ваша фамилия? — спросил Хейз.

— Донован, сэр. Уильям Донован.

— Мистер Донован, вы сегодня видели мистера Кослоу?

— Да, сэр. Около пяти. Он поднялся к себе.

— Один?

Донован помолчал. У него была манера думать перед тем, как сказать простую вещь, и Хейз эту манеру одобрил — такие люди редко врут впопыхах.

— Нет, сэр. С дамой.

— Опишите даму.

— Высокая. Около тридцати. В зелёном платье.

Хейз достал из внутреннего кармана маленький блокнот в чёрной обложке и карандаш. Карандаш был тупой — он всегда носил тупые, чтобы не продырявить подкладку. Записал: «женщина, 30, зелёное платье».

— Шляпа?

— Без шляпы. Но с перчатками. Светлыми.

— Она поднялась с ним?

— Да, сэр. В лифте.

— А когда спускалась — вы её видели?

Донован снова помолчал. На этот раз он думал дольше, и Хейз понял: этот вопрос портье сам себе уже задавал.

— Нет, сэр. Не видел. Я сидел тут до восьми, а потом пришла горничная.

— Других выходов нет?

— Служебный. Но туда нужен ключ, а ключи только у персонала.

Хейз записал это тоже. Поблагодарил, поднял шляпу и пошёл к лифту. Лифтёр — пожилой мужчина в синей ливрее с золотыми пуговицами — посмотрел на него коротко и нажал восьмёрку, не спрашивая. В лифте пахло одеколоном, которым пользовался кто-то до них: сладковатым, с лавандой. Хейз запомнил и это.

* * *

Номер 812 был из тех, что в «Алгонкине» сдавали постоянным клиентам. Две комнаты, ванная, окно во внутрен-

ний двор, обои в тёмно-зелёную полоску. Дэниел Кослоу лежал на полу между креслом и журнальным столиком, лицом вверх, с маленьким тёмным пятном над правой бровью и большим тёмным пятном под затылком. Пятно на ковре расползлось до ножки стола и там остановилось, как будто ковёр решил дальше не пускать.

Питер Петерсен, напарник Хейза по нескольким прежним делам, сидел на корточках у тела и что-то записывал. Увидев Хейза, он встал, слегка кряхтя — колени, война, сорок шесть лет.

— Артур.

— Пит. Что у нас?

— Один выстрел. Близко, но не в упор. Калибр маленький, похоже на двадцать второй. Гильзы нет.

— Время?

— Док приедет через полчаса, но я бы сказал — часа три-четыре назад. Тело ещё тёплое, трупные пятна только начинают.

Хейз присел рядом с Кослоу. Промышленник был одет в дорогой серый костюм, жилет расстёгнут на одну пуговицу сверху — как будто он садился и расстегнул, чтобы удобнее. Галстук в полоску, аккуратный узел. Ботинки — новые, почти без царапин на подошвах. Часы на левой руке — золотой «Лонжин», стрелки показывали без двадцати шесть.

— Пит, глянь. Часы.

Петерсен наклонился.

— Стоят?

— Нет. Идут. Но на минуту быстрее моих, а мои я сверял в участке по радио.

— Ну и что?

— Ничего. Просто заметил.

Хейз встал и обошёл тело кругом. Журнальный столик: пепельница с двумя окурками. «Честерфилд», оба с одним и тем же следом помады — тёмно-красной, почти коричневой. В пепельнице — третий окурочек без помады, смятый иначе, будто его тушили нервно. Стакан с виски на три пальца, нетронутый. Второй стакан — пустой, но влажный изнутри: из него пили. На краю — тот же след помады.

Хейз записал: «два окурочка с помадой, один без; стакан пустой; стакан полный; помада тёмно-красная».

Он подошёл к окну. На подоконнике — ничего. Повернулся к двери. Осмотрел пол. И вот тут, у самого порога, на светлом участке ковра, куда не попадала кровь, он увидел след. След был неполный — только половинка, передняя часть ботинка. Мужской ботинок, большой размер, подошва в ёлочку. Но вот что было странно: этот след вёл не в комнату, а из комнаты. Носок смотрел в коридор.

— Пит. Ты фотографировал здесь?

— Фотограф уже снял всё, — отозвался Петерсен, не поворачиваясь. — А что?

— След от ботинка. У двери.

Петерсен подошёл, посмотрел.

— И?

— Смотри в какую сторону.

Петерсен посмотрел. Помолчал.

— Наружу.

— Именно. То есть кто-то вышел. Но дама, по словам портье, не спускалась. И служебным выходом не пользовалась — там ключ. Значит, либо портье соврал, либо этот кто-то ещё в здании.

— Или она не дама.

Хейз посмотрел на Петерсена.

— То есть?

— Размер ботинка, Артур. Это не женская нога.

Хейз снова присел. Мужской, сорок четвёртый по меньшей мере. Он достал из кармана портновский метр, который таскал в расследованиях убийств с сорок восьмого года, и измерил. Двадцать девять сантиметров от пятки до носка. Большой мужчина. Под сто девяносто.

Он записал это и сверху подчеркнул: «мужчина, рост ~190, вышел из комнаты, портье не видел».

* * *

В половине одиннадцатого приехал доктор Маркович, пятидесятилетний венгр, переживший одну войну в Европе и другую в Нью-Йорке, где его жену задавила машина в сорок шестом. С тех пор он относился к мёртвым с тем спокойствием, которое бывает только у людей, потерявших живое. Он работал двадцать минут, потом встал, снял перчатки и

сказал Хейзу:

— Одна пуля. Двадцать второй калибр, я почти уверен. Выстрел с дистанции около метра, может, чуть больше. Вошла над правой бровью, вышла за левым ухом. Он даже удивиться не успел.

— Борьбы не было?

— Нет. Под ногтями чисто. Костяшки не разбиты. Он сидел в кресле, встал, сделал шаг — и получил пулю.

— Левша или правша стрелял?

Маркович посмотрел на тело, на пятно на ковре, на расположение тела относительно двери.

— Правша. И невысокий.

Хейз посмотрел на след у двери.

— Невысокий?

— Сантиметров сто семьдесят, сто семьдесят пять. Угол входа пули идёт чуть снизу вверх. Если бы стрелок был под сто девяносто, пуля вошла бы под другим углом.

Хейз не ответил. Он посмотрел на след ботинка, потом на доктора, потом снова на след.

Значит, двое. Один стрелял — некрупный, вероятно, та самая «женщина в зелёном». Другой вышел — высокий мужчина, которого портье не видел. И оба как-то прошли мимо Донована — или Донован врал. Или было что-то третье, чего Хейз пока не понимал.

Он записал в блокнот: «двое. Стрелок — ~175. Второй — ~190. Донован либо лжёт, либо...». Последнее слово он не

дописал. Не смог подобрать.

* * *

В одиннадцать Хейз спустился в вестибюль. Дождь за окнами усилился, и в холле пахло мокрой шерстью — посетители приносили запах с улицы. Донован всё ещё сидел за стойкой, бледнее, чем раньше.

— Мистер Донован. Ещё один вопрос.

— Да, сэр.

— Когда дама поднималась с мистером Кослоу — вы уверены, что на ней было зелёное платье?

Донован посмотрел на него. Потом посмотрел на свои руки. Потом опять на Хейза, и в его глазах появилось выражение, которого там раньше не было: лёгкая, но отчётливая растерянность.

— Зелёное, сэр. Да. Я помню, потому что у моей жены было похожее. Она умерла в сорок девятом, и я всегда обращаю внимание, если кто-то... Зелёное, сэр. Тёмно-зелёное. С тонким пояском.

— Спасибо.

Хейз вышел на улицу. Он постоял под козырьком, закурил — «Лаки страйк», без фильтра — и посмотрел на светящуюся «А» на вывеске «Алгонкина». В слове «Алгонкин» слегка мигала буква «л», и этот дефект он тоже запомнил. Потом сел в машину, завёл двигатель, но поехал не в участок, а домой, на Западную семьдесят вторую, где его ждала пустая квартира, полная книг и нескольких вещей, оставшихся от

жены, которой уже без малого пять лет как не было.

По дороге он думал о двух окурках с одинаковой помадой и одним — без. О стакане, из которого пили, и стакане, к которому не притронулись. О мужском следе, идущем из комнаты. О росте стрелка — невысокий — и о росте того, кто вышел — высокий. О двух людях, которые как-то поднялись и как-то спустились, и ни одного из них портье не запомнил полностью.

«Зелёное платье, — думал он. — Тёмно-зелёное, с тонким пояском. Донован помнит, потому что похожее было у жены».

Он и сам не знал, почему ему так важно было это записать дважды. Просто записал — в блокнот, когда остановился на красный на углу Пятьдесят седьмой. А потом поехал дальше, в ночь, к себе домой, и свет фар «форда» плыл по мокрому асфальту так, как будто асфальт пытался что-то отразить — но не своё, а чужое, ещё не произошедшее.

Он не знал, что через тридцать шесть часов Донован будет стоять на том же месте и говорить Хейзу, что на даме было красное платье.

И что Хейз, открыв блокнот, увидит свою же запись: «женщина, 30, красное платье».

Карандашом, тупым, как всегда. Своим почерком.

Глава 2

Сорок восемь часов

Утро после убийства Хейз начал с того, что не спал. В половине пятого он встал, заварил кофе — «Максвелл Хаус» из жестяной банки, которая стояла у него на полке с августа, — и сел за кухонный стол с блокнотом. Дождь кончился. За окном было то особое октябрьское молчание, которое бывает в Нью-Йорке перед рассветом: мусорщики ещё не приехали, газетчики ещё спали, и только где-то далеко на Гудзоне протяжно гудел буксир.

Он раскрыл блокнот на странице, где была запись про зелёное платье, и перечитал её три раза. Потом перелистнул назад — и ещё раз прочёл свои записи из «Алгонкина». Часы. Окурки. Два стакана. След ботинка из комнаты. Рост стрелка — сто семьдесят пять. Рост второго — около ста девяноста. Донован, который видел женщину, но не видел, как она спускалась.

Всё это укладывалось в убийство, как паззл, у которого не хватает двух-трёх углов. Версий могло быть несколько. Любовница застрелила Кослоу, а сообщник-мужчина помог ей выйти. Или наоборот: мужчина стрелял, а женщина служила прикрытием. Или Донован работал на кого-то из них и нарочно путал показания.

Хейз не любил версии на пустой желудок. Он разбил два яйца на сковородку, поджарил хлеб и съел завтрак, не глядя в тарелку. Потом побрился опасной бритвой — у зеркала, где на полке стояла фотография Кэтрин в серебряной рамке. Жена улыбалась в объектив так, как будто знала, что её про-

сят улыбнуться, и это её слегка забавляло. Снимок был сделан в Кони-Айленде в сорок девятом, за несколько месяцев до того, как её не стало.

Он не прикасался к рамке. Пыль на ней он вытирал раз в неделю, по субботам, мягкой тряпочкой. Но никогда не брал в руки.

В шесть пятнадцать он вышел из дома. В семь был в участке. В восемь сорок пять в комнату допросов привели вдову.

* * *

Маргарет Кослоу было тридцать четыре года, и она носила их так, как женщина носит дорогое кольцо — привычно, но не забывая, что оно у неё есть. На ней был чёрный костюм, слишком хорошо сшитый для скорби, и маленькая шляпка с вуалью, которую она откинула, садясь. Волосы тёмные, почти чёрные, гладко забранные в узел. Глаза — серо-зелёные, без красноты. Ни один мускул её лица не дрогнул, когда она вошла.

— Миссис Кослоу. Спасибо, что приехали так рано.

— У меня не было выбора, детектив.

Хейз отметил это — не «у меня не было причин отказываться», а «не было выбора». Люди выбирают слова так, как подбирают одежду. У некоторых случайно, у других — очень точно.

— Я приношу вам соболезнования.

— Благодарю.

Он предложил сигарету. Она отказалась. Он закурил сам.

— Где вы были вчера между пятью и восемью вечера?

— Дома. На Пятой авеню, восемьсот сорок четыре.

— Одна?

— С прислугой. Нашу экономку зовут миссис Фолкнер.

Она может подтвердить.

— Подтвердит.

Это был не вопрос. Хейз сказал это так, как сказал бы метеоролог про завтрашний дождь — зная, что дождь будет.

Маргарет Кослоу на секунду посмотрела ему в глаза. В её взгляде не было ни вызова, ни страха — только короткое, почти вежливое узнавание. Узнавание человека, который понял: напротив него сидит не дурак.

— Подтвердит, — повторила она.

— Миссис Кослоу, у вашего мужа была любовница?

— Вероятно, не одна.

— Вы знали кого-то из них?

— Нет. Дэниел был деликатен. Это его единственное качество, которое я ценила.

Хейз записал в блокнот: «признаёт измены, холодна, не притворяется любящей». Потом поднял глаза.

— Вы не любили мужа?

— Я вышла за него в двадцать лет, детектив. В двадцать я много чего думала о любви. К тридцати четырём я уже думаю о другом.

— О чём, например?

Она впервые улыбнулась. Улыбка была короткой и непри-

ятной, как порез бумагой.

— О том, что мой муж застрахован на полмиллиона долларов, и вы сейчас спрашиваете меня об этом именно потому, что знаете эту сумму.

Хейз медленно затушил сигарету. Он не знал этой суммы. Он собирался узнать её после обеда.

— Миссис Кослоу, кто выгодоприобретатель?

— Я.

— Весь миллион?

— Полмиллиона, детектив. Вы не слушаете.

Он улыбнулся углом рта. Ему нравилось, когда подозреваемые были умнее, чем надо. С такими интереснее работать, и они чаще попадают — не на лжи, а на тщеславии.

— Миссис Кослоу, у вашего мужа были враги?

— У человека, который за двадцать лет сделал восемь миллионов долларов в металлургии, враги есть по определению. Спросите Ирвинга. Он знает всех.

— Ирвинг — это?..

— Ирвинг Блэкмен. Партнёр Дэниела. Мой деверь по первому браку.

Хейз записал имя. Подчеркнул.

— Последний вопрос, миссис Кослоу. Ваш муж в последние недели казался вам обеспокоенным?

Она помолчала. И в этом её молчании — первом за весь разговор — Хейз уловил что-то настоящее.

— Да, — сказала она наконец. — Последнюю неделю. Он

плохо спал. Запирал кабинет. И вчера — во вторник утром — я зашла к нему, и он быстро что-то убрал в ящик. Что-то маленькое. Как фотография.

— Вы видели, что это было?

— Нет.

— Спасибо. Вы свободны.

Она встала, надела перчатки — светлые, лайковые, до локтя. Взяла сумочку.

— Детектив.

— Да?

— Я не убивала своего мужа. Но я не буду делать вид, что мне его жаль. Надеюсь, вы достаточно взрослый, чтобы понять разницу.

— Вполне, миссис Кослоу.

Она вышла. Хейз посидел ещё минуту, глядя на дверь, потом записал в блокнот: «ящик. Фотография. Вторник». Обвёл это прямоугольником.

* * *

Ирвинг Блэкмен приехал в двенадцать. Он был полной противоположностью вдовы: пухлый, потный, в плохо сидящем костюме табачного цвета, с галстуком, на котором пятно от соуса, и с той нервной словоохотливостью, которая у одних людей от природы, а у других — от страха. Хейз определил: второе.

— Детектив, я в ужасе. Я в полном ужасе. Дэниел был мне как брат. Больше чем брат. Я это говорю без преувеличения.

— Мистер Блэкмен, где вы были вчера с пяти до восьми?

— В клубе. «Гарвард-клуб», вы знаете, на Западной сорок четвёртой. Там были Саймон Льюис и Дэвид Розенберг, они подтвердят. Мы играли в бридж. Я проиграл сорок долларов, это тоже подтвердят, потому что проигрываю я всегда.

Хейз кивнул. «Гарвард-клуб» стоял в двух кварталах от «Алгонкина». Это означало, что Блэкмен в момент убийства физически мог быть там, но с алиби, которое легко проверить. Либо он невиновен, либо очень уверен, что Льюис и Розенберг солгут.

— Мистер Блэкмен, у мистера Кослоу были финансовые трудности?

Блэкмен промокнул лоб платком.

— У Дэниела? Трудности? Никаких. Мы только что заключили контракт с армией на поставку специальной стали. Шесть миллионов за три года. Это был его триумф.

— Кто-то проиграл этот контракт, чтобы он его выиграл?

— Разумеется. «Бетлехем Стил». Их гендиректор был в ярости.

— Имя?

— Харрисон. Пол Харрисон. Но послушайте, детектив, гендиректор «Бетлехем Стил» не нанимает убийц. Это смешно.

— Я не говорю, что нанимает. Я спрашиваю имена.

— Простите.

Хейз записал. Потом поднял глаза.

— Мистер Блэкмен, ваш партнёр в последние дни казался вам обеспокоенным?

Блэкмен заёрзал на стуле. Платок снова пошёл в ход.

— Да. Да, казался. Вчера утром он пришёл в офис и закрылся у себя на два часа. Потом вышел и спросил, можно ли верить частным детективам.

— Он нанимал детектива?

— Не знаю. Я сказал, что есть хорошие. А есть плохие. Как везде.

— Он назвал имя?

— Нет. Но вечером — уже перед тем, как он ушёл в «Алгонкин» — он сказал мне одну странную вещь.

— Какую?

Блэкмен наклонился вперёд. От него пахло кельнером и потом.

— Он сказал: «Ирв, если со мной что-нибудь случится, поройся в сейфе. В левом углу, под бумагами по „Юнион Карбайд“. Там конверт».

Хейз медленно положил карандаш.

— Вы проверили?

— Я приехал сюда к вам сразу, как только услышал. Сейф у него в кабинете. Я его не открывал.

— У вас есть ключ?

— Комбинация. Да.

— Мистер Блэкмен, поедemте.

* * *

Офис «Кослоу Стил Индастриз» занимал два этажа в здании на Мэдисон-авеню, с окнами, выходящими на церковь Сент-Патрика. В час дня там было пусто — в знак траура работу свернули. Блэкмен провёл Хейза по ковровой дорожке в угловой кабинет, большой, тёмного дерева, с портретом Кослоу маслом над письменным столом. Сейф стоял за панелью в стене, замаскированной под книжный шкаф. Блэкмен отодвинул панель, помедлил и набрал комбинацию. Дверца тихо щёлкнула.

Внутри — папки, пачка облигаций, коробка с наручными часами. В левом углу, под папкой «Юнион Карбайд», — обычный коричневый конверт без надписи.

Блэкмен взял его и протянул Хейзу.

— Вот.

Хейз открыл. Внутри была одна фотография и один лист бумаги.

Фотография была старая — начала сороковых, судя по виду. На ней — двое мужчин на фоне какого-то здания с колоннами. Один — Кослоу, заметно моложе, ещё без седины. Второй — высокий, худой, в светлом костюме и в круглых очках. Лицо второго было вполне отчётливое — и абсолютно незнакомое. Хейз его никогда в жизни не видел.

На обороте фотографии, от руки, синими чернилами, было написано: «Берн, 1943».

Хейз посмотрел на Блэкмена.

— Вы знаете этого человека?

— Никогда не видел.

— А Кослоу был в сорок третьем в Берне?

— Дэниел был в сорок третьем в Квинсе. На заводе. У него была бронь, он делал сталь для флота. Он вообще никогда не был в Европе. Он даже в Канаду ни разу не ездил.

Хейз перевернул лист. На нём от руки, тем же почерком, что и надпись на фото, было написано три строчки:

«Если я не выйду из „Алгонкина“ живым —
ищите женщину в зелёном платье.

Но это не она».

Хейз очень медленно сел в кресло напротив сейфа.

Несколько секунд он молчал. Блэкмен стоял рядом и тоже молчал — лицо у него стало белым, как воротник его рубашки.

— Мистер Блэкмен.

— Да?

— Вы сегодня с утра никому не рассказывали, что вчера видели Дэниела обеспокоенным?

— Только вам.

— И о том, что он вам сказал про сейф?

— Только вам.

— Очень хорошо. И пусть так остаётся. Ни жене Кослоу, ни полицейским, кроме меня. Вы меня поняли?

— Да.

— Если вы не слушаетесь, мистер Блэкмен, вас убьют. Я не шучу.

Блэкмен кивнул. Хейз видел, как у него на шее бьётся жилка.

Хейз положил фотографию и записку во внутренний карман пиджака. Потом подумал, вытащил их, положил во второй — потайной, у подкладки. Снова проверил. Потом вышел из кабинета. Блэкмен запер сейф, догнал его в коридоре.

— Детектив. А что — «не она»? Что это значит — «это не она»?

— Мистер Блэкмен, если бы я знал, я бы уже раскрыл дело.

Он спускался по лестнице, не дожидаясь лифта, и думал, что Кослоу, которому оставалось жить несколько часов, сам знал, что его убьют. Знал настолько точно, что успел спрятать записку. И в этой записке он сообщал — очень буквально, очень ясно, — что убийцей будет женщина в зелёном платье, которая одновременно не будет женщиной в зелёном платье.

Это было противоречие, которого раньше в делах Хейза не случалось.

* * *

В половине четвёртого, возвращаясь в участок, он заехал в ирландскую забегаловку у Седьмой авеню, выпил кофе и съел сэндвич с солониной. Ел он машинально, почти не чувствуя вкуса. Он думал о Берне, о сорок третьем годе, об очкастом человеке на фотографии, которого Кослоу не мог знать, потому что его не было в Европе, и которого тем не менее

он знал, потому что хранил его фотографию в сейфе.

Он положил четвертак на стойку, вышел на улицу — и столкнулся с женщиной.

То есть сначала она столкнулась с ним: он выходил, она входила, дверь была узкая. Её блокнот, который она держала в руке, упал на тротуар, и страницы на мгновение открылись, показав быстрый женский почерк — строчки, цифры и одно подчёркнутое слово: «Кослоу».

Хейз поднял блокнот, не отводя глаз от страницы. Потом — от страницы к её лицу.

Ей было около тридцати пяти. Невысокая, худощавая, в сером плаще поверх тёмного платья, без шляпы. Волосы каштановые, стриженные коротко, по-мужски. Лицо — не красивое в журнальном смысле: слишком резкий подбородок, слишком большие глаза, нос с небольшой горбинкой. Но было в этом лице что-то, от чего трудно было сразу отвернуться. Как будто за ним что-то происходило всё время, и ты не хотел это пропустить.

— Спасибо, — сказала она, беря блокнот. — Простите.

— Вы пишете о Кослоу?

Её глаза — серые, с зеленоватой искрой — на долю секунды сузились.

— Откуда вы?..

— Я его видел.

— В блокноте?

— В блокноте.

Она посмотрела на Хейза внимательнее. Оценила пальто, шляпу, туфли, выражение лица — быстро, по-журналистски, так, как смотрят на человека, когда решают, стоит он строчки или нет.

— Вы из газеты? — спросила она.

— Я полицейский.

— А, — сказала она. — Тогда это многое объясняет.

— Что именно?

— То, что вы не спросили, кто я.

— Я собирался.

— Меня зовут Элен Морроу. «Трибюн». Я писала о Кослоу за неделю до того, как его убили, и теперь пытаюсь понять, не по моей ли вине.

Хейз помолчал. Потом протянул руку.

— Артур Хейз. Отдел убийств. Я сейчас собирался в участок. У вас есть четверть часа?

— У меня есть сколько угодно.

— Тогда идёмте.

Они пошли. Он не знал её три минуты, но уже отметил главное: она не задавала лишних вопросов. Она шла рядом с полицейским, с которым только что познакомилась, к зданию, где ей явно ничего не расскажут, — и не задавала ни одного лишнего вопроса. Значит, она уже знала, что нужно задавать. Значит, она уже работала. Значит, она была полезна.

И значит, с ней нужно было быть осторожным вдвойне.

* * *

В участке в её присутствии он почти ничего не рассказал. Записал её адрес в Вест-Виллидж, телефон редакции, номер домашнего. Взял у неё чёрновик статьи, которую она готовила к печати на следующий день, — статью о том, что Кослоу в последнее время вёл переговоры, о которых он не говорил никому, даже партнёру. Элен сама этого не понимала, но кусочки, которые она собрала по слухам в металлургических кругах, указывали на что-то крупное — возможно, сделку с европейским капиталом.

— Европа, — сказал Хейз.

— Европа.

Он не стал спрашивать больше. Пока.

В половине седьмого он проводил её до выхода. Уже стемнело, снова начал накрапывать дождь. Она остановилась у крыльца, подняла воротник, посмотрела на него.

— Детектив Хейз.

— Да?

— Мне можно вам звонить?

— Можно. Только не всегда буду отвечать.

— Понимаю.

— И, мисс Морроу.

— Да?

— Если вы вдруг найдёте в материалах что-то о Берне — сорок третий год — сразу звоните. В любое время.

Она очень коротко кивнула. Так кивают люди, которые не

задают вопросов, потому что умеют ждать.

— До свидания, детектив.

Она ушла. Хейз смотрел, как её серый плащ растворяется в вечернем потоке на Тридцать четвёртой улице. Потом достал блокнот и записал: «Элен Морроу. „Трибюн“. Осторожна. Умна. Знает больше, чем говорит».

Под этим — после паузы — он дописал: «нравится».

И тут же зачеркнул.

* * *

В восемь вечера он опять поехал в «Алгонкин». Вторая проверка показаний — обычная процедура после первого дня расследования. Он хотел ещё раз поговорить с Донованом, уточнить детали по времени, спросить, не вспомнил ли тот чего-нибудь ещё. И ещё он хотел, чтобы Донован сам, не под давлением, повторил слова «тёмно-зелёное платье с тонким пояском». Потому что эти слова Хейз носил в голове с прошлого вечера, и они тяжелели там, как мокрая одежда в чемодане.

Донован стоял за стойкой. Тот же пробор, те же усы, тот же взгляд, поднимающийся с запозданием. Хейз подошёл, поздоровался.

— Мистер Донован. Ещё несколько вопросов по вчерашнему.

— Конечно, детектив.

— Вы говорили, что мистер Кослоу поднялся в номер с дамой.

— Да, сэр.

— Вы не вспомнили никаких дополнительных деталей? Может, акцент, если она что-то говорила? Украшения? Сумочка?

Донован задумался.

— Она не говорила, сэр. Она только кивнула мне — как благодарят швейцара. Без сумочки. Без украшений, кажется. Разве что серьги маленькие.

— А платье?

— Красное, сэр.

Хейз медленно моргнул.

— Красное?

— Да, сэр. Красное платье. Я хорошо запомнил, потому что очень редко вижу в такой дождь даму в красном. Обычно темнее одеваются, чтобы пятна не было видно.

Хейз достал из внутреннего кармана блокнот. Открыл на нужной странице.

Он знал, что у него там записано.

Он знал это так же точно, как знал, что сейчас восемь вечера. Как знал имя своей покойной жены. Как знал, что его мать умерла в Бруклине весной сорок шестого.

Он смотрел на страницу. На странице его собственным почерком, тупым карандашом, было написано:

«женщина, 30, красное платье».

Он смотрел долго. Он смотрел так долго, что Донован в конце концов осторожно спросил:

— Детектив, вам нехорошо?

Хейз поднял глаза. Ответил не сразу.

— Мистер Донован.

— Да, сэр?

— Вчера, когда мы с вами говорили здесь — вы сказали.

«Зелёное, сэр. Да. Я помню, потому что у моей жены было похожее. Она умерла в сорок девятом». Вы это помните?

Донован посмотрел на него с той же осторожной растерянностью, что и вчера.

— Детектив, моя жена жива.

Хейз не ответил.

Он стоял у стойки «Алгонкина», с блокнотом в руке, и смотрел на пожилого портё, у которого была жива жена, и не было в прошлом зелёного платья, и у которого сегодня в памяти дама, поднимавшаяся вчера в номер с Кослоу, была одета в красное. А в блокноте Хейза — его собственным почерком — тоже было написано «красное». И Хейз знал, знал совершенно точно, знал той костяной, нутряной уверенностью, которая у него работала всегда — что вчера он записал другое.

— Спасибо, мистер Донован.

— Пожалуйста, сэр. Вы точно хорошо себя чувствуете?

— Точно.

Он вышел из отеля. Постоял под дождём — на этот раз не под козырьком, а прямо под дождём, поднимая лицо, давая воде стекать по щекам. Машины шипели шинами по Западной

сорок четвёртой. Где-то за углом пел саксофон — дешёвый, из какого-то бара, играли что-то из Гершвина.

Хейз стоял и думал очень простую, очень ясную вещь.

Он думал: «Либо я схожу с ума, либо мир лжёт».

И то и другое его не устраивало.

Он сел в машину, завёл двигатель, и поехал не в участок, а к себе домой. В левом внутреннем кармане пиджака лежала фотография из сейфа Кослоу, из Берна сорок третьего года, с лицом человека, которого Хейз никогда не видел. Во внешнем кармане — блокнот с правильной записью, которая была неправильной. И где-то между этими двумя карманами, у самого сердца, у него медленно, отчётливо, впервые в жизни, начинал зарождаться тот особенный страх, который бывает у людей, когда они понимают, что проверенный инструмент — их собственная память — только что на их глазах перестал быть проверенным.

Дождь шёл ровно. Он шёл сверху вниз, как ему и положено.

Пока.

Глава 3

Письмо из библиотеки

Публичная библиотека Нью-Йорка открывалась в девять, но Софья Ленская приходила в половине девятого. Ей нравилось это получасовое окно, когда большое здание на Пятой авеню было ещё пустым и принадлежало только убор-

щикам, двум старым хранителям и ей. В это время мраморные коридоры звучали иначе: шаги отдавались долго, и можно было услышать, как где-то далеко, в служебном коридоре, падает в жестяное ведро вода из подтекающей трубы. Софья любила эту воду. Она отмечала ею время, как другие отмечают его боем часов.

В то утро — среду тринадцатого октября — она поднялась в отдел редких рукописей в восемь тридцать семь. Сняла пальто, повесила в узкий служебный шкаф у двери. Поправила блузку, пригладила волосы ладонью. Волосы у неё были тёмно-русые, не густые, собраны в простой узел на затылке, и она их почти не замечала — как человек не замечает свою правую руку, пока она не заболит.

Кабинет отдела был длинной комнатой с высокими окнами, выходящими на Брайант-парк. Стены до потолка занимали шкафы орехового дерева со стеклянными дверцами. За стеклом стояли книги, которые мало кто спрашивал: инкунабулы, средневековые латинские требники, первые издания Мильтона и Донна, три или четыре русские рукописи восемнадцатого века, которые Софья знала поимённо. Посреди комнаты стоял большой дубовый стол для читателей, а в углу — её собственный письменный стол, поменьше, с настольной лампой под зелёным абажуром и с подставкой для перьевых ручек. Ручку она предпочитала простую, школьную, с тонким пером. Дорогие перьевые, которые дарили иногда читатели, она держала в ящике нераспакованными.

Софья включила лампу. Достала из ящика журнал поступлений — толстую тетрадь в тёмно-коричневой коленкоровой обложке — и раскрыла на странице, на которой остановилась вчера. За вчерашний день в отдел поступили четыре новых позиции: две книги восемнадцатого века, пожертвованные наследниками коллекционера из Филадельфии, и два письма на французском, купленные библиотекой на аукционе. Она должна была их каталогизировать.

Она работала с восьми сорока до десяти, не отрываясь. Это была та часть её жизни, которая ей нравилась больше всего. В маленьком почерке каталожных карточек, в необходимости правильно указать инвентарный номер и место хранения, в запахе старой бумаги и слабой типографской краски было что-то успокаивающее, похожее на молитву — на молитву не богу, а самому факту существования книг. Книги — думала она иногда — живут дольше тех, кто их написал, дольше тех, кто их читал, и дольше тех, кто их каталогизировал. В этом было утешение.

В десять часов в отдел пришёл первый читатель — молодой аспирант из Колумбийского, работавший над диссертацией о ранних переводах Горация на английский. Софья принесла ему заказанный том и вернулась за стол. Юноша читал до половины первого, сдал книгу, поблагодарил, ушёл. В час она пошла обедать.

* * *

Обед у Софьи был всегда один и тот же: бутерброд с сыром

и ветчиной, завёрнутый в вощённую бумагу, и термос с чаем, заваренным крепко, по-русски, в гранёном стакане ещё дома. Ела она в маленьком внутреннем дворе библиотеки — крошечном, с одной скамьёй, куда редко кто заходил. Если было холодно — в служебной комнате с плиткой и раковиной, где обедали хранители.

В тот день было холодно. Она сидела в служебной, грела руки о термос и думала об отце.

Отцу было шестьдесят три, и он работал швейцаром в отеле «Пьер» на Пятой авеню, в двадцати кварталах к северу. Носил тёмно-синий мундир с золотыми шнурами, открывал двери, раскрывал зонты, свистом подзывал такси. Постояльцы — богатые нью-йоркцы и приезжающие европейцы — давали ему чаевые и хорошо к нему относились, потому что он был вежлив и молчалив, и потому что у него была осанка, которой не бывает у обычных швейцаров. Капитан Ленский Владимир Петрович, выпускник Николаевского кавалерийского училища, доживал свой век в роли человека, открывающего двери.

Раньше, в Харбине, он был другим. Софья помнила его в белой форме на лошади, под снегом, в толпе таких же, как он, русских офицеров, ушедших на восток в двадцатом году и осевших в Маньчжурии, как в последнем бастионе прежней России. Харбин её детства был странным городом: русский, но не русский, азиатский, но не азиатский, город с православным собором, китайскими лавками и японскими во-

енными патрулями, ходившими по улицам с тридцать второго года. Она помнила снег, санки, колокольный звон, мамыны песни по-русски. Мама пела негромко, но голос у неё был низкий, чистый, и когда она пела — отец замолкал и смотрел на неё, как смотрят на что-то, что вот-вот исчезнет.

Мама умерла в сорок восьмом, на пароходе между Шанхаем и Сан-Франциско. Врач сказал — тиф. Софье было двадцать. Отец не плакал. Он просто стоял на палубе и смотрел в воду, долго, часа два, пока матросы не пришли и не забрали тело. Потом они ехали поездом через всю Америку, и отец за всю дорогу не сказал ни слова — ни про жену, ни про Харбин, ни про то, что им делать в Нью-Йорке, куда они плыли только потому, что у них там был дальний родственник, державший бакалею в Бруклине.

С тех пор прошло шесть лет. Бакалейный родственник умер через год после их приезда. Отец сначала работал в порту, потом сторожем, потом, с пятьдесят второго, — швейцаром в «Пьере». По-английски он говорил с тяжёлым акцентом, но грамотно. По-русски они с Софьей говорили дома, и только между собой, и только тогда, когда никого не было рядом.

Отец был человеком одной привычки. Каждое воскресенье, в семь утра, он шёл в русскую церковь на Второй авеню — не молиться (он не верил с восемнадцатого года), а постоять у колонны и послушать. Он говорил Софье: «Соня, я хожу туда, потому что это единственное место в этом городе,

где меня узнают по походке».

Софья думала об отце, допивая чай. Она думала, не слишком ли редко она стала заходить к нему в его комнату по вечерам. В последние месяцы он как будто начал уставать. Не от работы — он был крепок, несмотря на возраст, — а от чего-то другого, от какой-то внутренней тяжести, которой раньше не было. Может быть, от мысли, что жить осталось меньше, чем прожито, и что жить осталось здесь, а не там.

Она решила, что сегодня вечером зайдёт. Принесёт пирогов.

Допила чай, собрала термос и бутербродную бумагу, вернулась в отдел.

* * *

Пожилой японец вошёл в два часа пятнадцать минут полудни. Софья это запомнила точно, потому что как раз в этот момент посмотрела на часы — большие, на стене, с медным маятником — и подумала, что её смена заканчивается через три часа.

Он был невысок, сухощав, с короткими совершенно седыми волосами. Лицо узкое, с тонкими морщинами вокруг глаз, выдающее возраст — может, семьдесят, может, и больше. Одет он был в тёмно-серое пальто хорошего, но изношенного покроя и в круглые очки в стальной оправе. В руках держал чёрную кожаную папку — не портфель, а именно папку, плоскую, на ремешках, потёртую по углам.

Он поклонился, входя, — не глубоким японским покло-

ном, а небольшим наклоном головы, каким кланяются европейские старые джентльмены. Потом подошёл к столу Софьи.

— Добрый день. Мисс Ленская?

По-английски он говорил правильно, почти без акцента — с той особой, слишком тщательной правильностью, которая выдаёт человека, выучившего язык уже взрослым и никогда с тех пор не позволявшего себе неточности.

— Да. Чем могу помочь?

— Я пришёл оставить у вас на хранение вот это.

Он положил папку на её стол. Папка легла беззвучно. Софья посмотрела сначала на папку, потом на него.

— Сэр, я должна объяснить. Мы принимаем только материалы, которые проходят через совет по пополнению коллекции. Если вы хотите передать рукопись, вам нужно сначала обратиться к главному хранителю. Его кабинет на третьем этаже, я могу дать вам форму—

— Я не передаю библиотеке. Я прошу сохранить лично вас.

Софья замолчала.

— Я не могу, — сказала она наконец. — Я работаю здесь. Я не могу принимать личные вещи посетителей.

Японец улыбнулся. Улыбка у него была странная — мягкая, слегка грустная, без той нервной приветливости, с какой обычно улыбаются просители.

— Мисс Ленская. Я не прошу вас что-либо делать. Я про-

шу вас принять. Просто положите в ваш шкаф и забудьте. Я не потребую назад. Никто другой не придёт за этим. Папка теперь ваша.

— Сэр, я не могу.

— Вы можете.

Он сказал это так тихо и так уверенно, что Софья почувствовала, как у неё на секунду кольнуло в груди — неприятно, холодно. Она посмотрела на него внимательнее. Глаза у японца были тёмные, спокойные. В них не было ни угрозы, ни безумия. В них было терпение — такое, какое бывает у людей, подготовившихся к долгому ожиданию.

— Что в ней?

— Бумаги.

— Чьи?

— Мои.

— Зачем вы отдаёте их мне?

— Потому что вам можно доверять.

— Вы меня не знаете.

— Я знаю достаточно.

Софья помолчала. Она думала позвать Гаррисона — старшего хранителя, который сидел этажом ниже и справился бы с любым странным посетителем одним движением брови. Но что-то её остановило. Не страх — страха не было. Скорее любопытство. Или то особенное ощущение, которое бывает у людей, выросших в нескольких странах сразу: ощущение, что ты уже видел эту сцену, только не помнишь где.

— Хорошо, — сказала она. — Я возьму. Но одно условие. Я не буду её открывать.

— Прекрасно.

— Никогда.

Он улыбнулся снова, и на этот раз в его улыбке промелькнула тень — быстрая, как пролетающая птица.

— Откройте, когда увидите, что дождь идёт вверх.

Софья посмотрела на него. Она думала, что ослышалась.

— Простите?

— Дождь, — повторил он, — пойдёт вверх. Вы это увидите. Тогда — откройте.

— Сэр, — сказала Софья медленно, — дождь идёт вниз.

— Обычно. Да.

Он снова поклонился — коротко, как вначале.

— Благодарю вас, Софья Владимировна.

И пошёл к двери.

Он был уже у самого выхода, когда Софья поняла, что её только что назвали по отчеству. По-русски. Правильно. С ударением не на «вла», а на «ди», как произносил отец.

Она никому в этой библиотеке не говорила своего отчества. Оно не было записано ни в таблице, ни на её карточке. Для всех она была «мисс Ленская» или «Софи». Только отец дома звал её «Сонечкой» или, когда был чем-то недоволен, — «Софья Владимировна».

— Подождите! — сказала она.

Но японец уже вышел. Дверь за ним закрылась мягко, без

щелчка.

Софья прошла через комнату, открыла дверь, выглянула в коридор.

Коридор был пуст. Ни справа, ни слева — никого. Мраморный пол, высокие двери других отделов, тишина. Лестница далеко, до неё он не успел бы дойти за те секунды, что она стояла.

Она постояла минуту, потом вернулась к столу.

Папка лежала, где он её оставил — чёрная, на ремешках, слегка потёртая.

Софья посмотрела на неё. Сердце у неё билось чаще, чем положено.

Она взяла папку — та оказалась тяжелее, чем выглядела, — и, не открывая, отнесла в служебный шкаф, где хранились её пальто и старые каталожные карточки, которые она не успевала разобрать. Положила папку в самый низ, под стопку карточек. Закрыла дверцу. Защёлкнула замок.

Вернулась к своему столу. Села.

Руки у неё дрожали.

Она посмотрела на лампу под зелёным абажуром. На подставку с ручками. На журнал поступлений, раскрытый на той же странице, на которой он был утром.

«Соня, — сказала она себе про себя, — не сходи с ума. Он прочитал твоё имя где-то. Отец как-то произнёс его случайно. Может, он знал русских в Харбине. Может, кто угодно мог знать. Мир маленький».

Мир был маленький. Она это знала.

Но она также знала — той особой внутренней точностью, которая была у неё, как у отца, от какого-то старого офицерского инстинкта, — что человек, только что вышедший из её кабинета, не прочитал её имя случайно.

Она взяла ручку и попыталась вернуться к каталогизации. Строчки на карточках не ложились. Почерк плыл. Через пятнадцать минут она отложила ручку.

«Дождь пойдёт вверх».

Она повторила это вслух, очень тихо, по-английски. Потом — по-русски. Потом — и там, и там — это прозвучало одинаково абсурдно.

И всё-таки в этих словах было что-то, от чего ей стало не по себе. Как будто она уже когда-то их слышала. Не от японца. Не сегодня. Когда-то раньше.

Она не могла вспомнить.

* * *

Она закрыла отдел в пять, сдала ключ на первом этаже и вышла на Пятую авеню. Дождя не было. Вечер стоял сухой, прохладный, с тем чистым октябрьским воздухом, который бывает в Нью-Йорке в редкие дни, когда океан гонит с востока ясную погоду. Небо над парком было фиолетовым, как чернила.

Софья постояла минуту на ступенях, глядя на площадь. На львов у входа — Терпение и Стойкость, двух мраморных стражей, которых она знала с первого дня работы. На вело-

сипедистов, проезжавших мимо. На женщину в тёмно-синем пальто, которая стояла у фонарного столба и смотрела через площадь, как будто кого-то ждала.

Софья посмотрела на женщину чуть дольше обычного. Ей показалось, что женщина знакомая. Возраста её самой, около тридцати. Тёмные волосы под береткой. Лицо отсюда не разглядишь.

Но через секунду женщина повернулась и пошла прочь, не оборачиваясь, и Софья уже не была уверена, что смотрела именно на неё, а не сквозь.

Она пошла к метро.

* * *

У отца на Гранд-стрит она была к половине седьмого. Купила по дороге пирожков с мясом в русской лавке, где её помнили по имени, и бутылку лимонада для себя. Отец открыл дверь не сразу — сначала было слышно, как он шёл по коридору своей ровной, чуть шаркающей походкой. Увидев её, он улыбнулся одними глазами и впустил в квартиру.

Квартира была маленькая, две комнаты и кухня. Обои в цветочек, доставшиеся от прежних жильцов. Круглый стол под клетчатой скатертью. Над столом — единственная уцелевшая семейная фотография: мать, отец и маленькая Соня, снятые в фотоателье в Харбине в тридцать шестом году. Фотография была чёрно-белая, подкрашенная от руки по моде того времени: у матери розовые щёки, у Сони голубой бантик, у отца — золотой позумент на погонах.

Они ужинали на кухне. Пирожки, чай, разговор по-русски — обычный разговор, о мелочах. Отец рассказал, что сегодня в «Пьере» был какой-то французский дипломат, который путал его со швейцаром гостиницы «Плаза» через улицу, и это отца неожиданно развеселило. Софья рассказала, что перевели на русский язык пушкинского «Годунова» в новой постановке, которую ставят в Гринвич-Виллидж, и что она хочет сходить.

О японце она не рассказала.

Сама не зная почему. Просто не рассказала.

Когда они уже допивали третий чай и она собиралась уходить, отец вдруг сказал:

— Соня.

— Да, папа.

— В этом году осень ранняя.

— Да.

Он помолчал. Смотрел на свои руки на столе. Руки у него были большие, в старческих пятнах, с коротко остриженными ногтями.

— Соня. Я хотел тебе сказать одну вещь.

— Говори.

Он снова помолчал. Потом поднял глаза. Глаза у него были серые, как у неё, и в них было что-то, чего она не видела никогда раньше — не тревога, а неловкость, как у человека, который собирается нарушить собственное правило.

— Соня. Если ты когда-нибудь встретишь японца... по-

жилого... не говори с ним по-японски. Никогда. Ты меня слышишь?

— Папа, я по-японски не говорю.

— Я знаю. Но на всякий случай.

— Папа, что это за странный совет?

Он посмотрел на неё очень серьёзно. Потом усмехнулся — коротко, жёстко — и махнул рукой.

— Не обращай внимания. Старик чудит.

— Папа—

— Соня, не сейчас. Я устал. Иди домой, уже поздно.

Она попыталась переспросить. Он отрезал. Он умел отрезать — привычка офицерская, давняя.

Она надела пальто. Он проводил её до двери. На пороге обнял — что бывало редко — и секунду подержал, прижав её голову к своему тёмно-синему швейцарскому мундиру, от которого пахло одеколоном, сигарами постояльцев и слабым запахом антимоли.

— Соня.

— Да, папа.

— Береги себя.

— Ты тоже, папа.

Он закрыл за ней дверь. Она пошла вниз по лестнице.

На улице был холод. Она шла к метро, подняв воротник пальто, и думала об одном и том же.

Отец никогда не давал ей странных советов. Отец никогда ни о чём её не предупреждал. Отец был человеком, ко-

торый молчал о прошлом так последовательно, что за шесть лет жизни в Америке она не услышала от него ни слова о том, как именно они уезжали из Харбина, кто им помогал, кого они боялись, почему в последний раз мать поцеловала его в лоб — в лоб, а не в губы — когда садилась на пароход.

И вдруг — сегодня — совет. И — японец, о котором он упомянул так конкретно, как будто уже знал, что она сегодня видела японца.

Она остановилась прямо посреди тротуара.

Прохожий обошёл её, бросив недовольный взгляд.

«Он не мог знать, — сказала она себе. — Я ему не сказала. Никто не мог ему сказать. В библиотеке никто не знает, что я его дочь — ну, разве что по фамилии, но это ничего не значит. Он не мог знать».

Но сердце у неё снова било в том быстром, неприятном ритме, в каком оно било днём, в отделе, когда она смотрела вслед японцу, вышедшему в пустой коридор и исчезнувшему за три секунды.

Она пришла домой — снимала угол у одинокой старушки-ирландки на Восточной шестнадцатой — и, не раздеваясь, села на кровать.

В голове звучал её собственный голос, повторяющий одно слово.

«Рано».

Почему «рано»? Она не сказала «рано».

Это сказал японец. Она вспомнила в ту же секунду, очень

отчётливо, ту фразу, которую услышала не сегодня, а до сегодня — как будто во сне, только она не помнила сна.

«Правильно. Рано».

Она сама не знала, откуда в ней эта фраза, и кому она была сказана, и когда.

Она сидела на кровати, в пальто, и смотрела в тёмное окно.

И впервые за очень долгое время — первый раз с той ночи на пароходе в Тихом океане, когда она слышала за переборкой, как отец плачет, — ей стало по-настоящему страшно.

Глава 4

Расхождение

Дом, в котором жил Артур Хейз, был построен в двадцать втором году — пятиэтажный, из красного кирпича, с узким фасадом и каменной обрэмкой окон. На первом этаже — прачечная миссис Пикарелло, итальянки с четырьмя сыновьями. На втором — семья портного-еврея из Лодзи. На третьем — пустая квартира, которую не могли сдать уже год, потому что в ней в пятьдесят первом скончался старый холостяк-библиотекарь, и соседи говорили, что иногда слышат ночью шаги. На четвёртом, слева, — Хейз. На пятом — хозяйка дома, миссис Келлог, вдова лейтенанта полиции, погибшего в тридцать девятом при задержании.

В ночь после «Алгонкина» Хейз пришёл домой в четверть десятого. Повесил пальто, снял туфли. Налил себе на три

пальца бурбона, не разбавляя. Сел за кухонный стол — тот самый, где утром пил кофе, — и раскрыл блокнот на той странице, где была запись о платье.

Он посмотрел на строчку.

«женщина, 30, красное платье».

Он смотрел долго. Потом перелистнул вперёд, назад, проверил, не вставлена ли страница. Страница была его, бумага та же, переплёт тот же, тонкая нить, прошивающая блокнот, та же. Всё его. Почерк его. Подчёркивание под словом «платье» — тоже его, он всегда так подчёркивал ключевые детали, одним движением, без линейки.

Хейз был человеком, который в подобных случаях не кричит и не разбивает стаканов. Он был человеком, который ставит задачу.

Он взял чистый лист из ящика, разгладил его ладонью и написал сверху: «ГИПОТЕЗЫ». Подчеркнул.

Под этим — столбиком, пронумеровав:

«Первое. Я ошибся в памяти. Я написал “красное”, а помню “зелёное” из-за усталости или контузии военной, которая даёт о себе знать раз в несколько лет».

«Второе. Кто-то подменил блокнот. Нашёл точно такой же, скопировал мой почерк на всех страницах, кроме одной, которую изменил. Невозможно практически — блокнот был у меня в кармане весь день».

«Третье. Кто-то вклеил одну страницу. Тогда видна была бы клеевая линия. Её нет».

«Четвёртое. Кто-то стёр и переписал. Посмотреть под увеличительным стеклом».

Он достал из верхнего ящика стола увеличительное стекло — подарок Петерсена на пятидесятилетие, хороший немецкий цейсс, трофейный, — и поднёс к странице.

Бумага была чистая. Никаких следов стирания. Волокна не нарушены. Никаких микроскопических складок, которые остаются после резинки, даже самой мягкой. Слово «красное» ложилось на бумагу так же ровно, как и слова вокруг него. Оно было написано — не вставлено, не переписано. Написано в один приём, в том же темпе, что и остальная запись, тем же карандашом, под тем же нажимом.

Хейз отложил стекло.

Допил бурбон.

Потом, очень медленно, дописал пятую гипотезу, самую короткую:

«Пятое. Случилось что-то, чего я не понимаю».

Он посмотрел на этот пятый пункт. Обвёл его в рамку.

Подумал — и поставил рядом с рамкой маленькую галочку. Не потому, что поверил. А потому, что он был полицейским, и у полицейских есть правило: из двух объяснений выбирай то, которое тяжелее. Дело, которое расследуешь с простой версии, почти всегда раскрывается плохо. Дело, которое расследуешь с самой трудной, — раскрывается хорошо или не раскрывается вовсе.

Он сидел ещё долго. Смотрел в окно на Западную семь-

десять вторую, на огни машин, на освещённое окно напротив, где чья-то женщина гладила чью-то мужскую рубашку, и гладила медленно, как гладят перед важным днём. Потом закрыл блокнот, выпил стакан воды и лёг спать.

Ему снились платья. Много разных платьев, висящих в длинном коридоре на вешалках, и в этом коридоре он шёл от одного к другому и пытался вспомнить — какое было. Все они были разного цвета. Зелёное, красное, синее, чёрное, серое, цвета старой бронзы. Он шёл и не мог выбрать.

Проснулся в полтретьего ночи в холодном поту и больше не заснул до утра.

* * *

Утром, в четверть восьмого, он был в участке. На его столе лежала короткая записка от Петерсена: «Арти, баллистика подтвердила — двадцать второй. Сверили с базой. Такого оружия у нас за последние пять лет не было. Скорее всего — импорт. Пит».

Импорт. Это было интересно. Двадцать второй калибр — женский, компактный, удобный для сумочки. Но импортный — уже не случайный, не купленный у шурина из-под полы. Такие пистолеты привозили с собой люди, которые готовились.

Хейз налил себе кофе из кофеварки в углу отдела — кофе был старый, со вчерашнего дня, но горячий, — сел за стол и открыл папку «Кослоу, Дэниел. Убийство. Дело номер 4417/54».

В папке он сложил всё, что уже имел: рапорт о выезде, фотографии с места преступления, отчёт Марковича, показания Донована, записанные по второму разу со словом «красное», показания вдовы, показания Блэкмена. Фотографию из Берна и записку с фразой «но это не она» он из папки убрал. Положил в личный сейф, в железный кубик под столом, который отпирался ключом, висевшим у него на цепочке с крестиком, оставшимся от Кэтрин.

В восемь пятнадцать в отдел пришёл Хартман.

Лейтенант Сайрус Хартман был человек лет пятидесяти пяти, высокий, широкий в плечах, с седыми, зачёсанными назад волосами и с тем особым оттенком лица, который бывает у людей, долго живших у моря — хотя Хартман, насколько Хейз знал, у моря никогда не жил. Ирландского происхождения по матери, немецкого по отцу. Служил в полиции Нью-Йорка двадцать восемь лет. В отделе убийств — последние девять. Хейз работал под ним с пятьдесят первого и относился к нему с тем ровным уважением, которое бывает между двумя профессионалами, не питающими друг к другу ни особой симпатии, ни особой вражды.

Хартман остановился у стола Хейза.

— Артур. Что по «Алгонкину»?

— Двадцать второй калибр. Импортный. Двое в номере — стрелок и ещё кто-то. Стрелок ниже, около ста семидесяти пяти. Сообщник — выше, около ста девяноста. Портье их видел, но не обоих. У Кослоу был секретный сейф — там

нашли любопытные материалы.

— Какие?

Хейз на долю секунды замедлил дыхание. Не задержал — он знал, что задержка дыхания видна опытному человеку, а Хартман был опытный. Он просто немного снизил темп.

— Деловые бумаги. По «Юнион Карбайд». Кослоу, по-видимому, готовил сделку — возможно, с европейским капиталом. Его вдова это подтверждает. И партнёр — Блэкмен — тоже.

— Европейский капитал, — повторил Хартман.

— Да.

— Арти, с европейским капиталом — поаккуратнее. Напомни мне сегодня после обеда — я свяжусь с ребятами из ФБР. Если там Европа и большие деньги — у них может быть свой интерес.

— Хорошо.

Хартман постоял ещё секунду. Посмотрел на Хейза своими светло-серыми глазами — умными, ровными, без любопытства.

— Арти.

— Да, Сай.

— Ты хорошо спал?

Хейз поднял брови.

— Нормально.

— У тебя лицо, как у человека, который не спал.

— Ну, значит, не очень хорошо.

— Старайся. По этому делу надо мыслить чётко.

Он ушёл. Хейз сидел ещё минуту, глядя ему вслед.

Потом, не совсем понимая почему, написал в личный блокнот — в тот самый, потайной, в подкладке пиджака, — одну строчку:

«Хартман спросил, как я спал».

А ниже: «Хартман никогда не спрашивает, как я сплю».

* * *

В десять утра он поехал по адресу Дэвида Райана.

Райан был бухгалтером Кослоу. Это Хейз узнал из папки в офисе Кослоу, которую вчера не смотрел, но о которой помнил. В ящике секретарши, рядом с сейфом, лежала картотека — обычная деревянная коробка с карточками контактов. Хейз попросил её в тот же день, через Блэкмена, и получил ксерокопию. Сейчас эта ксерокопия лежала у него в папке.

Райан, Дэвид П. Бухгалтер-ревизор. Работал с Кослоу с пятьдесят второго года. Адрес — Восточная восемьдесят девятая, 434, квартира 3Б. Телефон домашний — «Мюррей-Хилл» семь-ноль-два-семь-семь. Семейное положение — холост. Возраст — по картотеке, сорок один год.

Хейз позвонил ему вчера поздно вечером из участка — никто не взял трубку. Позвонил сегодня утром — то же самое. Это могло ничего не значить: Райан мог уехать, мог быть в клиенте, мог быть у женщины. Но это могло значить и другое, и Хейз, который вчера ещё в сейфе Кослоу нашёл записку про женщину в зелёном, которая «не она», предпо-

читал сейчас проверять подобные вещи лично и быстро.

Восточная восемьдесят девятая, четыреста тридцать четыре, — это был кирпичный дом в Йорквилле, районе, где ещё жили старые немцы, приехавшие в двадцатых, и где на вывесках магазинов читались готические шрифты. Дом был шестиэтажный, с пожарной лестницей по фасаду. У подъезда стоял лавровый горшок — засохший.

Хейз вошёл. Вестибюль узкий, с почтовыми ящиками по левой стене. Он посмотрел на ящик 3Б.

На ящике была табличка.

На табличке было написано: «М. и Л. Шнайдеры».

Хейз посмотрел на табличку. Потом посмотрел на ящик 3А. На нём было написано: «Р. Голдстайн». Ящик 3В — «Б. Фарелли». Ящик 2Б — «К. Томпсон». Все таблички были разные, разного возраста, с разным почерком. Не новенькие, не недавно заменённые. Табличка 3Б была не новее соседних — бумажка внутри жёлтая, шрифт машинописный, чуть выцветший по краям.

Хейз стоял. Чувствовал, как у него снова, как вчера у стойки Донована, начинает подниматься то особое холодное чувство в животе, которое он в последний раз ощущал на фронте, во Франции, зимой сорок четвёртого, когда однажды ночью выяснилось, что немцы обошли их взвод с фланга.

Он поднялся на третий этаж.

Дверь 3Б была дубовая, тёмная, с глазком. Он позвонил.

За дверью послышались шаги. Дверь приоткрылась на цепочке. В щель показалось женское лицо — пожилая немка, лет шестидесяти, с седыми волосами, гладко зачёсанными назад, и с тем выражением вежливой настороженности, которое у иммигрантов появляется раньше усталости.

— Ja?

— Добрый день, мэм. Детектив Хейз, полиция Нью-Йорка. Я разыскиваю мистера Дэвида Райана. По моим сведениям, он живёт в этой квартире.

Женщина посмотрела на него очень спокойно.

— Herr Райан?

— Да, мэм.

— Здесь таких нет. Здесь живём мы — я и мой муж Макс. Мы живём здесь с сорок шестого года.

— Простите, мэм. Какого года?

— С ноября сорок шестого.

Хейз медленно кивнул.

— Мэм, простите, я хотел бы уточнить. Может, у вас раньше этот Райан снимал комнату? Или жил до вас?

— Молодой человек, до нас здесь жила семья Берковицев. Они уехали в Палестину в сорок шестом, мы въехали сразу после них. Ни до нас, ни после никакого Райана здесь не было. Я в этом уверена.

— А вы знаете ваших соседей?

— Знаю всех, кроме новой семьи на четвёртом. Они въехали в июне.

— Среди ваших знакомых в доме нет никого с фамилией Райан?

— Нет. В нашем доме все немцы, кроме Фарелли и Томпсонов. Ирландцев здесь нет.

— Ирландцы и англосаксы.

— Всё равно нет.

Она посмотрела на Хейза с лёгкой тревогой — тревогой человека, который в прошлой жизни уже однажды открывал дверь незнакомцу из власти и помнил, что из этого может получиться.

— С вами всё в порядке, детектив?

— Да, мэ. Спасибо.

— Может быть, вам ошиблись адресом?

— Может быть. Спасибо вам.

Он спустился на первый этаж.

У почтовых ящиков остановился снова, посмотрел на 3Б. «М. и L. Шнайдеры». Выцветшая бумажка, жёлтая по краям. Лет десять этой табличке, если не больше.

Вышел на улицу.

Постоял у двери. Закурил.

В картотеке Кослоу, в ксерокопии, лежавшей в его папке, адрес Райана был: «восемьсот девять, Восточная восемьдесят девятая». Нет, постойте — не восемьсот девять. Четыреста тридцать четыре. Квартира 3Б. Он был уверен. Он помнил цифру. 434.

Он вытащил папку из-под мышки. Раскрыл на странице с

ксерокопией.

Карточка лежала перед ним.

«Райан, Дэвид П. Бухгалтер-ревизор...».

Он смотрел.

Смотрел.

Потом взял папку в правую руку и очень медленно закрыл. Подошёл к машине. Сел за руль. Положил папку на сиденье рядом. Раскрыл снова.

На карточке было:

«Райан, Дэвид П. Бухгалтер-ревизор. Работал с “Кослоу Стил” с 1952 г. Адрес служебный — 452 Мэдисон, 12 этаж, офис 1207. Домашний адрес не указан. Телефон служебный — Мюррей-Хилл 7-0277».

Хейз прочитал это три раза. Медленно, слово за словом.

«Домашний адрес не указан».

Но вчера, в офисе Кослоу, он точно читал домашний адрес. Он его записал себе в папку. Он его сегодня утром помнил — 434, Восточная восемьдесят девятая, квартира 3Б. Он приехал сюда, а не в Мэдисон, потому что знал, что рабочий день ещё не начался в бухгалтерии, а бухгалтеру-одиночке имеет смысл звонить домой.

Домашнего адреса на карточке больше не было.

Хейз сидел в машине. Смотрел на картотечную карточку. Смотрел очень долго, пока не онемела рука, державшая папку.

Пятая гипотеза, которую он обвёл вчера вечером в рамку

за кухонным столом, подтверждала себя медленно, но методично — как трещина идёт по штукатурке, сначала волоском, потом шире, потом уже не сомневаешься, что штукатурка обвалится.

* * *

Он поехал на Мэдисон, 452.

Это был большой офисный дом, занятый в основном страховыми агентствами и юристами средней руки. Он поднялся на двенадцатый этаж. Офис 1207. Матовое стекло, на стекле — золотые буквы: «КОСТЕЛЛО И СЫН. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ».

Хейз постоял.

Потом постучал. Из-за стекла — шаги, женский голос: — Входите!

Он вошёл. Маленькая приёмная, за столом — женщина лет сорока пяти, в очках на цепочке. За её спиной — ещё одна матовая стеклянная дверь, и оттуда — мужской голос, говоривший по телефону по-итальянски.

— Чем могу помочь?

— Простите. Я ищу бухгалтера Дэвида Райана. По моим сведениям, он работает в этом офисе.

Женщина посмотрела на него поверх очков.

— Мистер Райан? У нас никогда такого не работало.

— Вы уверены?

— Молодой человек. Мы — «Костелло и сын». Мой муж и его сын. Мы этот офис снимаем с сорок девятого. Никакого

Райана здесь не было.

— Может быть, он снимал у вас угол? Или приходил на время?

— Мы не сдаём углов. Сэр, если у вас какие-то вопросы по налоговым декларациям — я могу записать вас на приём. Если нет — извините, у меня работа.

— Спасибо.

Он вышел.

В коридоре двенадцатого этажа был телефонный автомат. Он бросил монетку. Набрал служебный номер из картотеки. «Мюррей-Хилл семь-ноль-два-семь-семь».

В трубке прозвучало три гудка. Потом подняли.

Мужской голос, молодой, бодрый:

— Добрый день, «Гилберт и Мур», чем могу помочь?

Хейз помолчал.

— Простите, это чей номер?

— «Гилберт и Мур». Рекламное агентство. Чем могу быть полезен?

— А давно у вас этот номер?

— С основания, сэр. Четыре года. А что случилось?

— Ошибся. Простите.

Он повесил трубку.

Постоял. Потом медленно спустился по лестнице — не лифтом, а пешком, все двенадцать этажей, потому что ему нужно было двигаться ногами.

На улице он сел в машину.

Положил руки на руль.

Сидел так, пока в горле не перестало подкатывать.

Никакого Дэвида Райана в мире больше не было. Не было его дома в Йорквилле, потому что там с сорок шестого жили немцы. Не было его офиса на Мэдисон, потому что там с сорок девятого сидели Костелло. Не было его телефона, потому что там четыре года работало рекламное агентство. Не было домашнего адреса в картотеке Кослоу — только служебный, не указывавший ни на что реальное.

Но Хейз — Хейз помнил.

Он помнил, как вчера, в офисе Кослоу, секретарша Кослоу — пожилая рыжеватая ирландка по фамилии Мэлоун — вынула для него карточку Райана из картотеки, и они вдвоём стояли над ней, и Мэлоун сказала: «Мистер Райан — умница, считал у нас всё до цента, хоть и холостяк, но человек порядочный, и детектив, если хотите, я вам его домашний перепишу». И она переписала. Он это помнил.

Он помнил это так же отчётливо, как помнил, что вчера записал «зелёное».

И так же отчётливо он знал — и это знание было уже не догадкой, а чем-то более жёстким, — что если он сейчас вернётся в офис Кослоу, в комнату секретарши, и спросит Мэлоун о Райане, — Мэлоун посмотрит на него с вежливым недоумением, потому что в картотеке Кослоу никогда не было никакого бухгалтера Райана.

Хейз сидел в машине. Улица вокруг жила обычной жиз-

нюю: прохожие, сигнал светофора, грузовик разгружал у тротуара бочки с пивом, мальчишка-газетчик кричал про заголовок «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС». Ничего в этой жизни не намекало на то, что из неё только что — бесшумно, за одну ночь, — выкли одного живого взрослого мужчину с бухгалтерской профессией.

Выкли так, что даже стены дома, в котором он жил, стали говорить по-немецки и стоять с сорок шестого года.

Хейз — один во всём Нью-Йорке — это знал.

* * *

В двенадцать десять он сидел в своей машине у Центрального парка, на Семьдесят второй, напротив входа в зоопарк. Он припарковался туда, не приняв никакого решения, — просто рука сама повернула руль, когда он выехал с Мэдисон, и теперь ему нужно было несколько минут тишины, чтобы подумать.

Он закурил. Выкурил одну сигарету, потом вторую.

Потом, не совсем понимая, зачем он это делает, сунул руку в карман пальто — во внешний, в правый, тот, в который обычно складывал мелочь и спички.

Пальцы наткнулись на бумажку.

Он вытащил её.

Это был сложенный вдвое листок из его же рабочего блокнота — тот же тип бумаги, тот же формат, — и на нём, его собственным почерком, тупым карандашом, было написано: «Райан, Мюррей-Хилл 7-0277. Домашний — 434 Ист 89-

я, кв. 3Б».

Хейз долго смотрел на эту бумажку.

Он знал, что сегодня утром этот листок он не писал. Он знал, что не клал его в карман. И он знал — тем же внутренним чутьём, с каким в «Алгонкине» определил, что высокий мужчина вышел из комнаты, а невысокий застрелил Кослоу, — что эта бумажка не принадлежит сегодняшнему дню. Она принадлежит вчерашнему.

Вчерашнему, которого больше не было.

Он сидел в машине и держал в пальцах клочок бумаги, на котором был написан адрес человека, которого теперь не существовало. И думал очень простую, очень ясную вещь. Ту же, что и вчера, только теперь — острее.

Не «либо я схожу с ума, либо мир лжёт».

А: «мир лжёт всем, кроме меня».

И: «у меня в голове, в карманах, в блокнотах, в памяти — лежат следы мира, которого уже нет. И я — единственный, у кого они есть».

Хейз посмотрел на себя в зеркало заднего вида. Его отражение было обычным: сорок два года, седина на висках, усталые глаза, лёгкая щетина. Он не выглядел как человек, сходящий с ума. Он выглядел как очень уставший полицейский в пальто, за рулём служебной машины, в середине осеннего дня, в городе, который, возможно, был уже немножко другим, чем час назад.

Он аккуратно сложил листок вчетверо. Положил его не в

карман пиджака — карманы были ненадёжны, — а в крестовый кармашек на подкладке, где лежал крестик Кэтрин на цепочке и ключ от его личного сейфа.

Достал свой блокнот — обычный, не потайной.

Открыл новую страницу.

И — впервые за всю его карьеру — написал запись, которую никто, кроме него, прочитать не должен был.

«Райан существовал. Вчера. Я видел его карточку. Я записал его адрес. Сегодня его нет нигде. Его квартиру занимают Шнайдеры с 1946 года. Его телефон принадлежит агентству с 1950-го. Его офис — “Костелло и сын”, с 1949-го. И — у меня в кармане пальто — лежит листок, которого я не писал сегодня. Кто-то сохраняет мне следы. Или я сам сохраняю их себе — раньше, до того как их забираю».

Подчеркнул одну строчку.

«Кто-то сохраняет. Или я сам. Но кто-то — сохраняет».

И закрыл блокнот.

Завёл машину.

И поехал в участок — доделывать обычный рабочий день, в обычном Нью-Йорке, с обычными бумагами, будто он, Артур Хейз, не держал только что в кармане записку от самого себя — записку, которую писал, по-видимому, не он сегодняшний, а кто-то другой. Тот самый он, что жил во вчера, которого больше не существует.

Где-то над городом — высоко, над крышами, над шпилем «Крайслера», над куполом «Эмпайр Стейт» — небо бы-

ло безоблачным, холодным, голубым, равнодушным.

Ни один дождь в этом небе пока что не шёл вверх.

Но Хейз уже знал — не умом, а животом, — что начинается.

Глава 5

Человек, которого не было

В два часа дня, вернувшись с Мэдисон-авеню, Хейз не пошёл в участок. Он поехал в офис Кослоу во второй раз за сутки.

В вестибюле здания на Мэдисон, где работала «Кослоу Стил», дежурил тот же лифтёр, что и вчера, — молодой парень лет двадцати в серой ливрее, с прыщавым подбородком и глазами, в которых читалось, что он мечтает поскорее выучиться на электрика. Хейз кивнул ему. Парень кивнул в ответ. Никакого особого узнавания — просто второй раз за день один и тот же посетитель, не больше.

— Шестнадцатый, — сказал Хейз.

— Шестнадцатый.

Лифт пошёл вверх. Хейз смотрел на узкое золотистое окошко с цифрами этажей и думал, что сейчас всё решится. Если Мэлоун узнает его и достанет карточку Райана — значит, правка была неполной и часть реальности сохранилась. Если Мэлоун посмотрит на него как на незнакомца и скажет, что никакого бухгалтера Райана в картотеке нет, — это будет последний гвоздь в крышку. После этого спорить сам с собой он перестанет.

Лифт остановился. Двери раскрылись. Хейз вышел в приёмную шестнадцатого этажа.

Всё было так же, как вчера. Тот же ковёр табачного цвета. Те же два кожаных кресла для посетителей. Тот же стеллаж с отраслевыми журналами. Та же секретарская стойка в форме буквы «Г», за которой сидела та же самая рыжеватая ирландка, с вязаной тёмно-зелёной кофтой поверх белой блузки, с очками на цепочке из искусственного жемчуга и с той самой родинкой у левого уголка рта, которую Хейз вчера отметил автоматически, как отмечал всё.

— Миссис Мэлоун, — сказал он.

Она подняла глаза. Посмотрела на него поверх очков.

Посмотрела с вежливой, слегка удивлённой улыбкой человека, видящего перед собой незнакомое, но не враждебное лицо.

— Да, сэр. Вы ко мне?

Хейз почувствовал, как у него медленно опустилось что-то в груди — как будто тяжёлый предмет лёг на место, о котором он до этого не знал.

— Миссис Мэлоун, — повторил он, — я детектив Хейз. Я был здесь вчера. Мы с вами стояли вот у этого шкафа, — он указал на шкаф, — и вы доставали мне карточку бухгалтера Дэвида Райана из картотеки. Вы ещё сказали — «мистер Райан умница, считал у нас всё до цента, хоть и холостяк, но человек порядочный».

Миссис Мэлоун посмотрела на него долгим, вниматель-

ным взглядом. В её взгляде не было подозрения — было доброжелательное желание помочь и искреннее недоумение, с которым сталкиваешься, когда человек не узнаёт то, что, по твоему мнению, он должен узнавать.

— Сэр, — сказала она, — я здесь работаю шестой год. И я вас не припоминаю. Вчера у нас в офисе был один полицейский, это правда, — он приходил с мистером Блэкменом в кабинет покойного. Но это был крупный такой, седой, в сером костюме. Не вы.

— Миссис Мэлоун, это был я.

— Сэр, при всём уважении — нет.

Хейз помолчал.

— Хорошо, — сказал он тихо. — Давайте я спрошу иначе. У вашей компании есть бухгалтер Дэвид Райан?

— Нет, сэр.

— У вас есть картотека сотрудников и подрядчиков?

— Есть, сэр.

— Можно мне её посмотреть?

Она посмотрела на него с секунду. Потом — и это было то, чего он боялся больше всего, — коротко сняла очки, положила их на стол и сказала:

— Вы можете мне показать документы, сэр?

Хейз показал. Полицейский жетон, удостоверение, всё по форме. Миссис Мэлоун взяла, посмотрела внимательно, сверила с фотографией. Вернула ему.

— Хорошо, детектив. Пройдёмте.

Они прошли в маленькую комнату за её стойкой — архивную, с двумя рядами деревянных картотечных шкафов, аккуратно подписанных по годам. Миссис Мэлоун подошла к одному из них — картотеке подрядчиков, — выдвинула ящик, указала Хейзу жестом.

— Смотрите сами, сэр. Это все, с кем мы работаем и работали.

Хейз смотрел сам.

Он проверил карточки на букву Р. Райны, Ральфы, Рейнольдсы, Рихтеры, Робинсоны, Роу. Никаких Райанов. Ни одного.

Проверил букву Р в картотеке сотрудников — ту, из которой вчера Мэлоун у него на глазах доставала карточку. Тот же ящик. Те же разделители. Те же бумажки. Никакого Райана.

Для полноты проверил буквы Ra, Re, Ri, Ro, Ru — все. Потом проверил букву О — на случай если карточка стояла под «О'Райан». Потом проверил букву Д — на случай если картотека была по имени. Потом проверил ящик «уволненные». Потом ящик «архив сорок шестой — пятидесятый год».

Ничего.

Миссис Мэлоун стояла рядом и наблюдала. Не с насмешкой и не с жалостью. Просто — с тем ровным вниманием профессиональной секретарши, которая привыкла к странностям посетителей.

— Сэр, — сказала она наконец, — могу я вам ещё чем-то помочь?

Хейз закрыл последний ящик. Выпрямился.

— Миссис Мэлоун. Один последний вопрос.

— Да, сэр.

— Кто ведёт бухгалтерию в «Кослоу Стил»?

— Мистер Берман. Исаак Берман. Он у нас главный бухгалтер с сорок восьмого года. Его офис — в соседнем крыле, комната сто четырнадцать. Позвать?

— Не нужно. Спасибо.

Он вышел из архивной. Миссис Мэлоун проводила его до лифта и, когда он уже нажимал кнопку, сказала мягко, почти участливо:

— Детектив. Если с вами всё в порядке — вам, может быть, стоит отдохнуть. У моего брата после Бельгии тоже такое бывало. Воспоминания, которых не было. Сказали — это от контузии. Всё прошло со временем.

— Спасибо, миссис Мэлоун.

— На здоровье, сэр.

Двери лифта закрылись. Хейз поехал вниз. Шестнадцать этажей молчания. Он смотрел в никелированную стенку лифта, в своё смутное отражение в ней. Лицо его было ровное. Не изменившееся, не испуганное, не дикое. Профессиональное. Только зрачки немного расширенные, как у человека, который только что вышел из тёмной комнаты на свет.

* * *

В половине третьего он зашёл в маленький бар у Пятдесят девятой. Сел за стойку. Заказал бурбон и чёрный кофе. Сначала выпил бурбон, потом кофе, в таком порядке — он знал, что обратный порядок хуже. Бурбон он выпил залпом, кофе — медленно, двумя глотками с паузой.

Потом достал из кармана блокнот. Не потайной — обычный. Раскрыл на чистой странице. Написал сверху: «ФАКТЫ».

Под этим:

«1. Дэвид Райан существовал вчера. Сегодня его нет».

«2. Его квартира, офис и телефон существовали вчера как связанные с ним. Сегодня они — не связаны ни с чем, что к нему относится. Существуют сами по себе, у других людей, причём давно».

«3. Секретарша Мэлоун вчера меня видела и разговаривала со мной. Сегодня — не видела и не разговаривала».

«4. Платье на женщине, поднимавшейся с Кослоу, вчера было зелёное. Сегодня — красное».

«5. В моей памяти всё по-прежнему. В моих записях — перевернуто».

«6. В моём кармане есть записка моим почерком, которой я сегодня не писал. Значит, что-то из вчерашнего переходит. Не всё. Не автоматически. Но переходит».

Он поставил точку. Посмотрел на список. Допил кофе.

Потом, немного подумав, дописал внизу строчку, которая сама показалась ему ненужной и — именно поэтому — важ-

ной:

«7. Я пишу это не сходя с ума. Я пишу это очень трезво. И я это знаю».

Запер блокнот в карман.

Заказал ещё бурбон и выпил его медленно — на этот раз смакуя. Ему нужно было выстроить дальнейший план. Бурбон помогал нервной системе не перегреваться. Он знал это по фронту.

У него оставалось несколько точек опоры. Не в мире вокруг — мир, как выяснилось, мог быть тихо переписан. А в вещах, которые в мире находились ещё не до конца и поэтому не успели перепроверить задним числом. Первая — записка в левом внутреннем кармане пиджака, из сейфа Кослоу: «ищите женщину в зелёном, но это не она». Вторая — фотография из Берна, сорок третий год, очкастый незнакомец. Третья — листок в кармане пальто, с адресом Райана, написанный его собственным почерком, которого он сегодня не писал. Четвёртая — память. Его собственная память, непонятно почему устойчивая к правкам, которые стирали всех остальных.

И пятая точка — Элен Морроу, которую он ещё вчера отметил как вероятную опасность, но которая сегодня, после визита к «Шнайдерам» и к «Костелло», становилась единственным в Нью-Йорке живым человеком, кроме него самого, с кем он был вчера и с кем мог сегодня, хотя бы теоретически, сверить память.

Он расплатился. Вышел.

Из телефонной будки на углу позвонил в «Трибюн».

— «Нью-Йорк Трибюн», чем могу помочь?

— Элен Морроу, пожалуйста.

— Соединяю.

Два гудка. Потом — её голос. Низковатый, немного быстрый.

— Морроу слушает.

— Мисс Морроу. Хейз.

Маленькая пауза. Он представил, как она сидит в шумной редакции, прижимая трубку плечом к уху, и одновременно дописывает какой-то абзац.

— Детектив. Добрый день.

— Вы сегодня свободны в шесть?

— Могу быть.

— Мне нужно задать вам пару вопросов о Кослоу. Не телефонных. Есть место, где можно поговорить спокойно?

Она помолчала. Потом сказала:

— Бар «Вестсайд», на Восьмой и Тридцать девятой. На втором этаже. Там почти не бывают репортёры — слишком дорого для нас. В шесть пятнадцать.

— В шесть пятнадцать.

— До встречи, детектив.

— До встречи.

Он повесил трубку. Постоял в будке ещё секунду, держа ладонь на рычаге.

Потом толкнул дверь и вышел на улицу.

Небо над Манхэттеном было то же, что и утром, — холодное, голубое, равнодушное. Но в этой равнодушности теперь было для Хейза что-то новое. Как будто небо знало о нём то, чего он сам ещё не знал. И смотрело оно на него так, как смотрит большой зверь, уже решивший, съесть или нет.

* * *

«Вестсайд» оказался баром на втором этаже старого здания, над чайным магазином, с узкой лестницей и с тусклым освещением, которое у таких мест всегда выбирают специально, чтобы лица посетителей были видны только тем, кто сидит с ними за одним столом. Хейз пришёл в шесть десять. Элен уже сидела — в дальнем углу, у окна, выходящего во внутренний двор. Перед ней стоял бокал красного вина, наполовину выпитый.

На ней был другой плащ, не серый вчерашний, а тёмно-синий, а под ним — тёмное платье в мелкий цветочек. Волосы, как и вчера, коротко стриженные. Помада на губах — неяркая, цвета вишни. Она посмотрела на него без улыбки, но без натянутости, и показала рукой на стул напротив.

— Детектив.

— Мисс Морроу.

Он сел. Заказал у подошедшего официанта виски с содовой. Официант ушёл.

— Как ваш день? — спросила она.

— Необычный.

— В каком смысле?

Хейз посмотрел на неё. Он знал, что сейчас делает что-то глупое. Что опытный полицейский не выкладывает подробности расследования журналистке, с которой знаком сутки. Что если он сейчас скажет ей что-нибудь близкое к правде, то либо её тут же скопирует Хартман, либо это окажется на страницах «Трибюн» через два дня, либо — и это было то, чего он пока предпочитал не называть вслух даже в собственной голове, — Элен сама является частью того, что происходит, и он сейчас подаёт ей информацию напрямую.

Но ему нужно было говорить. Ему нужно было говорить живому человеку, который помнит тот же вчерашний день, что и он.

— Мисс Морроу.

— Элен.

— Элен. Хорошо. Артур.

— Артур.

— Элен. Скажите мне одну вещь. Вчера, когда мы познакомились на Седьмой авеню, у забегаловки, — что на мне было надето?

Она подняла брови.

— Станный вопрос.

— Очень странный. Ответьте, пожалуйста.

Она посмотрела на него чуть дольше. Журналистка в ней — прошло секунды две — взвесила этот вопрос и решила, что отвечать на него нужно буквально, без шуток, потому

что что-то за ним стоит.

— Серое шерстяное пальто. Под ним — тёмно-коричневый костюм. Серый галстук с мелким синим узором. Рубашка белая. Шляпа — серая же, с чёрной лентой. Ботинки — тёмно-коричневые, поношенные, с тем слегка кривым каблуком, какой бывает у ботинок, которые чинили один раз. Вы левша, потому что ключи от машины у вас были в правом кармане, а вы потянулись к ним правой рукой не сразу, как потянулся бы правша, — сначала левая двинулась, потом остановилась.

Хейз смотрел на неё.

— Вы наблюдательны.

— Профессия.

— Элен, простите. А вы вчера — в чём были?

Она чуть прищурилась. Но ответила.

— Серый плащ. Под ним — тёмно-синее платье. На левом плече — брошь. Круглая, гагатовая, от матери. Сумочка — чёрная, лаковая. Шляпы не было.

— Вы уверены?

— Я помню, что я на себя надеваю, Артур. Это входит в мою дневную дисциплину.

Хейз кивнул. Он смотрел на неё и чувствовал — очень отчётливо, очень спокойно, — как у него в груди разворачивается что-то похожее на прохладное облегчение. Её серый плащ. Её тёмно-синее платье. Всё совпадало с тем, что он вчера вечером сам записал в блокноте.

Значит, её память и его память пока шли одинаково. Значит, Элен — не стёрта, не переписана, не вклеена в сегодняшний день вместо какого-то прежнего себя. Значит, она — реальный свидетель вчерашнего.

Или же — очень умело подставленный.

Он заставил себя не отбрасывать эту вторую возможность.

— Артур. — Она чуть наклонилась вперёд. — К чему этот тест?

Хейз помолчал. Потом сказал:

— Элен, я собираюсь сказать вам кое-что. Не для печати. Не для редактора. Не для коллег. Если вы подтвердите, что это так, — я буду вам благодарен до конца своих дней. Если нет — я пойму. Но больше вас к этому делу привлекать не буду.

— Слушаю.

— У Кослоу работал бухгалтер. Дэвид Райан. Вчера его карточка была в картотеке «Кослоу Стил», я её видел лично. Секретарша Мэлоун доставала её из ящика при мне. У него был адрес — Восточная восемьдесят девятая, четыреста тридцать четыре, квартира три-Б. Был служебный офис на Мэдисон, четыреста пятьдесят два, комната тысяча двести семь. Был телефон «Мюррей-Хилл» семь-ноль-два-семь-семь. Всё это я записал вчера в свой блокнот. Я это помню совершенно отчётливо. Сегодня — ни адреса, ни офиса, ни телефона, ни карточки. Картотека на его месте показывает других людей. Квартиру занимают Шнайдеры с со-

рок шестого. Офис — «Костелло и сын» с сорок девятого. Мэлоун сегодня меня не узнала. Сказала, что никакого бухгалтера Райана у них не работает и не работало.

Он остановился.

Элен смотрела на него. Не моргая. В её глазах — и он это видел, и на это он надеялся, — медленно, очень заметно, происходил тот внутренний процесс, который бывает у людей, привыкших проверять всё на факт, когда они слышат нечто, не укладывающееся ни в одну проверяемую категорию.

— Артур.

— Да.

— Вы проверяли, нет ли в городе другого бухгалтера с той же фамилией?

— Проверю. Но вчера я звонил в «Мюррей-Хилл» семь-ноль-два-семь-семь, мне ответил мужчина, представился «Райан», я сказал ему, что я из полиции, он сказал, что вечером будет дома. Я слышал его голос. А сегодня тот же номер принадлежит рекламному агентству четыре года.

— В записи звонка?

— Нет. Я звонил со своего стола, записей нет.

Элен помолчала. Потом — и это было то движение, которого Хейз больше всего боялся и больше всего ждал, — она сделала вдох и сказала:

— Артур, простите за прямой вопрос. У вас бывали галлюцинации? Контузии?

— Одно ранение головы. Арденны, бельгийская деревня, зима сорок четвёртого. Месяц в госпитале. После — обычная служба. Никаких галлюцинаций. Никаких провалов. Врачи в полиции подтвердят — ежегодное обследование я прохожу. Память у меня феноменальная, это моя главная рабочая черта, и её никто никогда не ставил под сомнение, включая меня самого.

— Хорошо.

— «Хорошо» в смысле верите или в смысле пока берёте в рамку?

Она улыбнулась — коротко, одной стороной рта.

— В смысле пока беру в рамку. Но рамка — большая. Артур, давайте я сделаю одну вещь. У меня есть знакомый в архиве «Трибюн». Он сегодня ночью ещё работает. Я попрошу его проверить, есть ли в наших старых номерах за последний год хотя бы одно упоминание бухгалтера Дэвида Райана, в любом контексте. Если такого упоминания нет — это, конечно, не доказательство. Если есть — это будет означать что-то очень странное. Потому что по вашим словам этого человека не существует уже, похоже, по крайней мере с сорок шестого.

— Спасибо.

— Не благодарите. Мне этот случай интересен.

— Интерес — опасная штука, Элен.

— Знаю, Артур.

Она сделала глоток вина, посмотрела на него поверх бока-

ла. Ему показалось, что в её взгляде в этот момент мелькнуло что-то, похожее на беспокойство, — не за себя, а за него. Как будто она уже понимала, что, если его история правда, его дело — плохо.

— Артур.

— Да.

— Если это всё правда — кто-то очень могущественный чистит следы.

— Я знаю.

— Тогда зачем вы мне рассказали?

Он помолчал.

— Потому что мне нужен второй свидетель вчерашнего дня. Вы — лучший кандидат. Либо я вам могу доверять, и тогда мы вдвоём против тех, кто чистит следы, и у нас есть шанс. Либо я вам доверять не могу, и тогда, — он усмехнулся невесело, — у нас всё равно всё очень плохо.

Элен отпила вина.

— Справедливо, — сказала она. — Мне нравится такая постановка.

— Рад, что нравится.

Они посидели молча. В баре играла тихая музыка — кажется, трио где-то дальше, за залом, играло что-то мягкое, не джаз и не совсем классику, что-то из тех вещей, которые ставят в барах, чтобы посетителям было легче думать о своём.

— Артур.

— Да, Элен.

— Что вы будете делать дальше?

Хейз посмотрел в окно. На внутренний двор — кирпичные стены, пожарные лестницы, тусклые окна напротив, чьи-то силуэты.

— Я буду вести дело. По обычной процедуре. Как будто всё в порядке. Буду допрашивать свидетелей, собирать улики, писать отчёты. Потому что, Элен, если я сейчас кому-то из начальства скажу то, что сказал вам, меня в тот же день отстранят, отправят в отпуск «по нервам» и поставят вместо меня человека, который поведёт это дело так, как нужно тому, кто чистит следы. А этого нельзя допустить.

— И параллельно?

— Параллельно я буду хранить то, что у меня остаётся в карманах. И в памяти. И учиться не доверять собственным записям. И писать — себе же — дублирующие записи в двух-трёх местах. И проверять каждый час, стоит ли мир на том месте, где я его оставил.

Элен кивнула. Медленно. Серьёзно.

— Артур.

— Да.

— Я вам помогу.

— Почему?

Она пожала плечами.

— По трём причинам. Одна — профессиональная: это лучшая история, которую я увижу за всю карьеру, если она

окажется правдой. Две остальные — не ваше дело.

Хейз впервые за весь вечер улыбнулся.

— Понял.

— Хорошо.

Они заказали ещё. Сидели часа полтора. Ближе к восьми Элен сказала, что ей нужно в редакцию — сдать материал к утреннему выпуску, — и ушла. Хейз проводил её до лестницы и вернулся к стойке. Посидел ещё минут двадцать, допивая виски, думая в тишине.

Потом расплатился, надел пальто и вышел.

* * *

На Восьмой авеню дул ветер. Слабый, холодный, нью-йоркский осенний ветер, несущий по тротуару обрывки газет и мокрые листья из Центрального парка. Хейз поднял воротник и пошёл пешком — до Тридцать четвёртой, где оставил машину.

На середине пути, где-то у угла Тридцать шестой, он сунул руку в карман пальто — за сигаретами. Сигареты были на месте. Но, нащупывая пачку, пальцы его снова наткнулись на листок бумаги.

Другой листок. Не тот, что утром.

Хейз остановился. Отошёл к витрине закрытого обувного магазина, встал в свет уличного фонаря, вытащил листок.

Это был сложенный вчетверо лист из его же блокнота. Но не тот, что утром, — тот он переложил в крестовый кармашек под крестик Кэтрин. Этот был новый.

Он развернул.

На листке его собственным почерком, тупым карандашом, было написано шесть строчек:

«Артур.

Если ты это читаешь — значит, ещё не поздно.

Его зовут Ланге.

Он приходит ночью. Всегда. Запах озона.

Не доверяй Хартману.

И береги Элен».

Хейз смотрел на лист.

Ветер поднял угол бумаги. Хейз прижал его большим пальцем.

Читал снова. И снова.

Никакой даты. Никакой подписи. Никакого обращения «детектив» — только «Артур». Писал тот, кто знал его лично. Писал тот, кто знал, что у него за листом будет это имя — Ланге, — которого Хейз сегодня не встречал, не слышал, не представлял. Писал тот, кто знал про Хартмана — которого утром Хейз сам впервые за девять лет работы отметил как подозрительного, только из-за одного нехарактерного вопроса. И писал тот, кто знал про Элен — которую Хейз впервые увидел вчера и с которой только что, час назад, разговаривал в «Вестсайде».

Хейз поднял голову. Посмотрел на проезжающие машины. На шумный угол. На цветочный магазин через улицу, где хозяйка-гречанка убирала витрину.

Потом посмотрел на листок.

Потом — на свои руки.

Листок был у него в левой руке. И листок был написан его почерком — тем самым, которым он полчаса назад подписывал счёт за виски в «Вестсайде». Наклон букв, форма буквы «Д», характерная чёрточка в конце росчерка — всё его.

Но он не писал этого листка.

И ещё два часа назад этого листка у него в кармане не было — он помнил точно, потому что в баре доставал из кармана ту же пачку сигарет и проверял, есть ли спички.

Значит, за последние два часа — в «Вестсайде», или на улице, или где-то — этот листок появился у него в кармане.

Хейз вернул листок в карман. Отошёл от витрины. Закурил.

И медленно, очень медленно пошёл дальше.

Он думал о двух вещах.

Первая: где-то рядом с ним есть кто-то, кто может подкладывать ему письма от самого себя, не будучи при этом им самим. Либо — и это было вероятнее, но страшнее, — этот кто-то и есть он сам, только не этот, а какой-то другой. Тот, который знает то, чего этот пока не знает. Тот, который уже прошёл этот путь однажды. Тот, который сейчас, за кулисами этой реальности, пытается предупредить его прежде, чем тот, кто «чистит следы», снова всё перепишет.

И вторая: если письмо в кармане — от него самого, из какого-то другого витка этой истории, — то у этого витка уже

был конец. И, судя по тону письма, — не тот конец, который хотелось бы повторить.

«Береги Элен».

Он смотрел под ноги, на мокрые от вечерней росы плиты тротуара, и шёл к машине.

Где-то в небе над Манхэттеном, неслышно для людей, что-то уже поворачивалось. Не шестерёнки времени — они, если и существовали, крутились тихо, — а что-то другое: внимание мира. Оно поворачивалось на Хейза. Медленно и неотвратимо, как поворачивается на добычу голова большой птицы.

И впервые за этот странный день Хейз понял — до конца, без возможности обратного хода, — что он не сходит с ума.

Что хуже.

Он — видит.

Глава 6

Запах озона

Ночь после «Вестсайда» Хейз решил не спать. Это было не то решение, которое человек принимает за столом, под крепким кофе, взвешивая за и против, — это было решение, которое принимается само собой, без слов, в тот момент, когда человек понимает: если он сейчас ляжет и закроет глаза, часть мира в эту паузу, возможно, перепишут, а он этого не увидит.

Он вернулся домой в половине десятого. Поставил чай-

ник. Разделся до рубашки. Развесил на спинке стула пиджак с двумя листками — утренним и вечерним, — аккуратно переложив их перед этим в тетрадку, перевязанную резинкой, которую убрал в личный сейф под столом. Туда же он положил блокнот с «Фактами» и конверт с фотографией из Берна. Сейф запер, ключ повесил на цепочку с крестиком Кэтрин и сунул под рубашку.

Потом сел за кухонный стол.

Заварил крепкий чёрный кофе, без сахара. Достал чистый лист бумаги из ящика. Ручку — перьевую, старую, с фронта, — которую доставал только в особых случаях, потому что обычным письмом писал карандашом. Сел и стал думать, как работать.

Мысль, к которой он пришёл в «Вестсайде» и которая теперь, на свежую голову, после двух рюмок виски и часа ходьбы по холодному ветру, уложилась в твёрдую форму, была такой. Если мир вокруг него можно править, — значит, его, Хейза, задача разделяется на две. Первая: вести дело. Обычное дело об убийстве Дэниела Кослоу в «Алгонкине», со всеми процедурами, с опросами свидетелей, с отчётами, с карточками. Эту задачу он оставит на поверхности. Делать её будет как всегда — добротнo, не привлекая лишнего внимания, давая начальству, Хартману и кому бы то ни было ещё ровно столько прогресса, сколько ожидается от обычного детектива по обычному делу.

Вторая задача — настоящая. Называлась она так: пере-

стать быть слепым, когда мир правят.

Для этой задачи нужна была система.

Хейз писал на листе, номеруя пункты:

«1. Второй блокнот. Всегда при себе. Не в кармане пиджака — в подкладке или внутри обложки полицейского удостоверения. Дублирует записи основного. Если основной изменится — сравнить».

«2. Третий пункт памяти — у другого человека. Элен. Каждый день пересказывать ей ключевые факты дня. Если она помнит одно, а я другое — отметить».

«3. Свежий телеграфный бланк в кармане. Каждое утро — одно слово на нём. Ключевая деталь дня, которую бы я заметил. Если деталь стёрта из мира — слово останется. Бланк сложить и положить в место, которое, вероятно, не будут править (карман, поношенная шляпа, внутренняя сторона манжета)».

«4. Фотографировать важное. Камера — маленькая, “Минокс”. Достать завтра из ломбарда у Ковальского — я закладывал её два года назад, квитанция в левом ящике».

«5. Важные предметы — хранить дома, в сейфе под столом. Не брать с собой, кроме необходимого. Сейф — стальной, замок серьёзный, вскрыть без ключа — полчаса шума. Услышу».

«6. Не спать в те часы, когда кто-то может приходить. Ночь — опасное время. Если он приходит ночью, как сказано в письме, — ночью быть готовым. Дневной сон коротки-

ми отрезками — не в кровати, а в кресле у окна».

«7. Никогда не рассказывать никому всё целиком. Каждому — часть, так, чтобы только я один знал все части».

Он перечитал список. Добавил восьмой пункт:

«8. Если меня всё-таки перепишут — пусть после меня кто-то продолжит. Элен. Завтра — начать её готовить».

Он подчеркнул восьмой пункт. Потом взял спички, аккуратно сжёг лист над раковиной, промыл пепел водой. Проверил пальцами — ничего не осталось.

Вытер руки полотенцем.

Сел у окна, в старое кресло, с которого хорошо просматривалась и прихожая, и входная дверь. Налил себе чаю из чайника, который уже успел остыть. Надел поверх рубашки шерстяной свитер, тёмно-синий, штопанный у локтей. Положил рядом на табуретку револьвер — служебный, тридцать восьмого калибра, с барабаном, полным патронов. Поверх револьвера, небрежно, — газету за сегодняшнее число. Если кто-то войдёт в прихожую, Хейз сначала достанет револьвер, потом газету — именно в таком порядке.

За окном — Западная семьдесят вторая. Тусклые лампы над тротуаром, редкие машины. Чёрная «меркюри», стоявшая у тротуара напротив, с потушенными фарами, — но Хейз помнил её вчера, это была машина соседа с пятого этажа, адвоката по фамилии Соколофф, и ничего в ней не было подозрительного.

Квартира третьего этажа в доме напротив — та, в которой

в пятьдесят первом умер библиотекарь Оппенгеймер и после которого там так никто и не снял, — как обычно, была тёмной. Окно выходило прямо на его окно, через узкую улицу, метрах в двенадцати. Днём там висели пыльные белые занавески, к вечеру сливавшиеся с темнотой комнаты в одно общее серое пятно. Хейз знал этот вид уже почти пять лет — с тех пор, как после смерти Кэтрин пересел в это кресло вместо кресла у другого окна, где они раньше пили вечерний чай вдвоём.

Он откинулся в кресле. Смотрел на это окно, смотрел на улицу, слушал тиканье кухонных часов и постепенно замедляющееся движение собственных мыслей.

Думал об Элен. О том, какой странный сегодня был разговор. О том, что между ними было то, чего он уже два года не ощущал, — простое живое любопытство, без жалости, без снисходительности, без маркировки «вдовец-полицейский». Она говорила с ним как с равным. Это казалось ему почти невероятным.

Думал о Ланге. Имя, которого он ещё не знал сегодня утром и которое сейчас уже знал наизусть. «Он приходит ночью. Всегда». Значит, ждём.

Думал о Хартмане. Об этом вопросе утром — «ты хорошо спал?» — и о том, как девять лет подряд Хартман ни разу не спрашивал у своих подчинённых, как те спят. Значит, и за Хартманом — присмотреть. Не сегодня. Завтра. Аккуратно.

Думал о Кослоу и о Берне сорок третьего года. Человек в

очках на старой фотографии. Кто он? И почему Кослоу его прятал в сейфе — за папкой «Юнион Карбайд», именно за этой папкой, с именем крупной химической компании, в которую, по слухам, уходили немецкие капиталы в сороковых? Это была нить, которая тянулась не к любовному треугольнику и не к вдове. Она тянулась в Европу.

В какой-то момент он задремал. Не глубоко — короткой полицейской дремой, когда одно ухо слышит дверь, одно — окно, и внутренние часы каждые несколько минут подёргивают тебя изнутри, чтобы не провалился.

Он открыл глаза в половине третьего.

Что-то изменилось в комнате. Он сначала не понял, что. Тиканье часов было на месте. Улица за окном шумела той обычной двухчасовой тишиной, когда одна машина за пять минут. Револьвер и газета — на табуретке.

Он посмотрел в окно.

В квартире напротив — в той, где три года стояли пыльные занавески и не горел свет, — горел свет.

Не яркий. Не люстра. Не лампочка в передней. Это был тот мягкий, тёплый свет, какой бывает от настольной лампы, — свет, падающий на стол, а не на комнату. Отсюда, через улицу, через занавески, он выглядел как небольшое золотистое пятно в чёрном прямоугольнике окна.

Хейз сидел неподвижно.

Он знал это окно три года. Он знал его день. Он знал его ночь. Он знал его в дожди, в снег, в жару, в грозу. Он знал

его все три года как окно без света.

Сейчас в нём горел свет.

И запах.

Он не сразу заметил. Кухня с закрытой плитой, чайник остывший, пепельница с одним окурком, свитер, пальто. Ничего нового в запахе комнаты быть не должно.

А было.

Тонкий, острый, свежий запах, чуть металлический, слегка ароматный в хорошем смысле — как воздух после сильной грозы в горах. Тот запах, который учителя физики в школе определяют одним словом: озон.

Хейз не двигался. Он протянул руку к табуретке, медленно, не выпуская из поля зрения окна напротив. Пальцы легли на газету, убрали её. Потом на рукоять револьвера. Револьвер был холодный и точно такой, каким он его оставил час назад. Он положил его себе на колено, не поднимая, рукояткой к себе.

Смотрел в окно.

Прошла минута. Может, две.

В окне напротив свет оставался на месте. Никаких силуэтов не было видно. Занавески — серые, грязные, провисшие — не шевелились.

Хейз медленно встал. Подошёл к окну сбоку, стараясь не попадать в полосу своего собственного света. Прислонился спиной к стене, выглянул одним глазом.

Никого на улице. Чёрная «меркюри» Соколоффа на ме-

сте. Фонарь на углу горит ровно. Старая вывеска «АПТЕКА» через два дома — тусклая, но исправная.

В окне напротив — свет.

И тут — на долю секунды, так коротко, что если бы Хейз моргнул, пропустил бы, — в глубине комнаты напротив, за занавеской, мелькнул силуэт. Высокий. Очень высокий. Тонкий. Мужской. Без шляпы.

Мелькнул — и пропал.

Хейз сглотнул. В горле было сухо.

Он стоял у стены минуту. Две. Пять. Смотрел на окно. Свет в нём горел ровно. Больше силуэт не появился.

Запах озона медленно, лениво уходил — как отходит запах грозы через полчаса после того, как гроза закончилась.

Хейз стоял у стены, с револьвером в руке, и думал о простой вещи.

Тот, кто сейчас в квартире напротив, — знает, что Хейз напротив него.

Тот, кто сейчас в квартире напротив, — пришёл не в эту квартиру случайно.

Тот, кто сейчас в квартире напротив, — выбрал эту квартиру именно потому, что она смотрит Хейзу в окно.

Это — не вторжение. Это — визитная карточка.

И ещё: тот, кто сейчас в квартире напротив, — мог бы войти и к самому Хейзу. Ему не нужна дверь. Ему, по-видимому, вообще не нужна дверь в том смысле, в каком двери нужны людям. Раз есть запах озона.

Но он не вошёл. Он встал напротив и дал знать.

Значит, пока — предупреждение.

Значит, пока — они играют.

Хейз осторожно задвинул свои собственные шторы — плотные, тёмно-зелёные, которые обычно не задвигал, потому что любил просыпаться от света. Сегодня — задвинул. Прошёл к кухонному столу. Опустился на стул. Положил револьвер перед собой.

Посидел так, не двигаясь, минут двадцать.

Когда он наконец снова раздвинул шторы, посмотрел на то окно — свет был погашен. Квартира напротив стояла, как стояла все три года, — тёмная, с пыльными занавесками.

Запаха озона в кухне уже не было.

Хейз посмотрел на часы. Четверть четвёртого утра.

Он взял блокнот — потайной. Записал, очень ровным почерком, одну строчку:

«Видел. Свет в Оппенгеймеровой квартире. 02:40 — 03:15. Запах озона в моей кухне. Силуэт — мужской, высокий, тонкий. Он показался мне».

Помолчал. Добавил ниже:

«Он хочет, чтобы я его видел».

И ещё ниже:

«Это значит — я ему зачем-то нужен. Не для того, чтобы стереть. Для чего-то другого».

Закрыв блокнот.

* * *

В семь утра Хейз был уже в ломбарде Ковальского на Бродвее. Старик Ковальский — поляк, переживший оккупацию, — открывал лавку в семь, потому что знал: первые клиенты — самые важные. Он узнал Хейза, не здороваясь (они не здоровались никогда), и кивнул на шкаф у задней стены, где лежали заложенные более двух лет назад вещи. Хейз достал квитанцию, расплатился — двадцать шесть долларов с копейками, — и забрал маленькую плоскую фотокамеру «Миннокс», размером с зажигалку, с двумя плёнками в коробочке.

На выходе он сказал:

— Ян.

— Да, детектив.

— Если кто-нибудь придёт и спросит, я сюда заходил или нет.

— Не заходили.

— Спасибо.

Ковальский кивнул, не отрывая взгляда от газеты.

В половине восьмого Хейз был в участке. В восемь он уже сидел за столом, писал рутинный утренний рапорт по делу Кослоу — лаконичный, сухой, без упоминаний ни о Берне, ни о Райане, ни о ночных гостях в окнах напротив. В рапорте говорилось, что двадцать второй калибр — импорт, предположительно европейский; что бухгалтерия «Кослоу Стил» проверяется на предмет финансовых нарушений (это была полуправда — проверяет, но не Райан, которого не существует, а «Берман», о котором Хейз вчера услышал впервые);

что опрос персонала гостиницы будет продолжен сегодня. Рапорт ушёл на стол Хартману в папке для утренней почты. Хартман в девять утра прошёл мимо стола Хейза, прочёл рапорт, кивнул, сказал «работай, Арти» и ушёл.

Хейз сидел за столом и работал.

В десять часов позвонила Элен.

— Артур.

— Элен.

— Я вам говорить не могу много — я в редакции. Мой знакомый проверил архив «Трибюн» за последний год — ни одного упоминания бухгалтера Дэвида Райана. Ни в статьях, ни в объявлениях. Пусто.

— Понял.

— И одна вещь. Странная.

— Какая?

— Я позвонила в «Костелло и сын». Представилась как подающий декларацию частник. Спросила, давно ли они в этом офисе. Женщина ответила: «с сорок девятого года». Я спросила: «а до вас кто был?» Она сказала: «до нас там тоже были мы, мы из соседнего помещения переехали в сорок девятом». Я спросила: «а в соседнем помещении до вас?» Она сказала: «в соседнем была адвокатская контора, “Смит и партнёры”, они с этим этажом с тридцать седьмого».

— Значит, в офисе тысяча двести семь никогда никаких «Костелло и сын» до сорок девятого не было.

— Значит, да. Костелло в тысяча двести семь переехали

из тысяча двести пятого. А в тысяча двести семь до этого кто-то, вероятно, был. Но она не помнит. И в списках здания, как она говорит, записи за сорок шестой — сорок восьмой — то ли утеряны, то ли их кто-то забрал.

Хейз помолчал.

— Элен.

— Да.

— Это важно. Это значит, что правку делали наспех. Что пустоту в две или три годовых записи им было некуда замазать, и они просто убрали бумаги, а соседей оставили как есть.

— Вы уверены?

— Я уверен, что если всё вокруг нас подделано тщательно, то вот такие — крошечные — дырки означают одно из двух. Либо им было некогда. Либо они не считают, что кто-то будет проверять так глубоко. В обоих случаях — у нас есть шанс.

— Я так и подумала.

— Элен, ещё одно. Сегодня вечером, в семь, там же, в «Вестсайде».

— Буду.

— И ещё.

— Да.

— Не ездите одна по тёмным местам. Если можно — такси. Не своя машина. Без привычного маршрута.

— Вы меня пугаете.

— Должен.

Она повесила трубку. Хейз положил свою.

Он сидел ещё минуту, думая о том, что сказал ей «не ездите одна». И о том, что ему это сказать было очень важно. И о том, что он сам себе теперь не нравится — потому что он уже отнёс её в ту категорию, в которую не имеет права относить женщину после одной встречи в «Вестсайде». В категорию, где он когда-то, очень давно, держал только одного человека — Кэтрин.

«Береги Элен».

Он усмехнулся, сам себе, криво.

Потом встал, надел пальто и поехал опять в «Алгонкин». У него был свидетель, которого он допрашивал позавчера и вчера и который должен был быть допрошен ещё раз. Работник этажа, Фрэнки Логран, ирландец лет тридцати, который якобы убирал коридор именно в то время, когда женщина спускалась.

* * *

Фрэнки Логран сидел в служебной комнате «Алгонкина», в маленьком помещении без окна, пил кофе из толстостенной чашки и смотрел на Хейза с тем особенным выражением, которое бывает у молодых ирландцев, разговаривающих с полицией: вежливым, но с внутренним запасом прочности.

— Детектив, я вам уже всё рассказал позавчера.

— Знаю, Фрэнки. Сегодня я хочу ещё раз, по пунктам. Для рапорта. Сколько тебе было лет, когда ты начал работать

в «Алгонкине»?

— Двадцать шесть. Семь лет назад.

— Значит, сейчас тридцать три.

— Тридцать три.

— На восьмом этаже ты убираешь давно?

— Три года.

— Во вторник вечером ты был на восьмом?

— Был. С четырёх до полуночи, моя смена.

— В районе пяти — половины шестого, когда мистер Кослоу поднимался с дамой, ты где был?

— У бельевого шкафа в конце коридора. Складывал чистые полотенца.

— Ты видел, как они вышли из лифта?

— Видел.

— Опиши её.

Фрэнки поставил чашку. Провёл большим пальцем по подбородку.

— Высокая. Худая. Лет тридцать. Волосы светлые, почти белые. Платье длинное, тёмное.

Хейз очень медленно, не выдавая ничего лицом, положил карандаш на блокнот.

— Тёмное?

— Ага.

— Какого цвета?

— Ну... тёмное. Бордовое, может. Или чёрное. Тёмное.

— Не красное?

— Да нет. Не красное. Я бы запомнил. Красное платье на женщине — сразу запоминается.

— Позавчера ты мне сказал — красное.

Фрэнки нахмурился. Его рыжеватые брови на секунду двинулись.

— Ну... детектив, я не помню, что я позавчера сказал. Но сегодня я вам точно говорю — платье было тёмное. Не красное. Я его видел полминуты и хорошо запомнил, потому что у меня девушка такие любит, и я ещё подумал — «ей бы это платье подошло». Бордовое. Или чёрное. Тёмное, в общем.

Хейз кивнул. Записал: «Логран, вт. — тёмное, бордовое или чёрное».

— А что на ней ещё было, Фрэнки?

— Перчатки белые, длинные.

— Позавчера ты сказал — серые перчатки.

— Детектив, при всём уважении, я не помню, что позавчера сказал. Белые. Я их помню точно, потому что у неё одна перчатка была на руке, а другую она в лифте держала в той же руке — то есть сняла. И я подумал — зачем снимать перчатку в лифте?

— А серьги?

— Не заметил.

— Дама с ним поднималась или спускалась тоже с ним?

— Поднималась — видел. Спускалась — не видел. Я в шесть уходил на кухню за стремянкой, меня с этажа не было

минут пятнадцать.

— Спасибо, Фрэнки. Последний вопрос. За эти два дня — с позавчера до сегодня — к тебе кто-нибудь подходил и разговаривал о деле? Кроме меня?

— Мистер Донован разговаривал. Сегодня утром. Спросил, что я вам говорил.

— И что ты сказал?

— Что рассказал вам про тёмное платье и белые перчатки.

— Донован сам начал этот разговор?

— Ну... да. В столовой служащих. За завтраком.

— Он странно себя вёл?

— Старик всегда странный. Но сегодня — да, будто не в себе. Руки дрожали. И спрашивал часто одно и то же: «ты её зелёной не называл, Фрэнки? Точно не зелёной?»

Хейз записал это тоже. Подчеркнул.

— Спасибо, Фрэнки. Свободен.

Фрэнки встал, допил кофе, надел жилет форменный. На выходе остановился.

— Детектив.

— Да?

— Вы найдёте того, кто это сделал?

Хейз посмотрел на него.

— Попробую, Фрэнки.

— Хорошо.

Фрэнки вышел.

Хейз посидел ещё минуту в маленькой служебной комна-

те. Потом раскрыл потайной блокнот и написал:

«Правка номер три. Работник этажа Логран, пт. — светлые волосы, белые перчатки, тёмное платье. Вт. вечер — те же Логран говорил: тёмные волосы, серые перчатки, красное платье. Изменения: волосы, перчатки, платье. Дама отличается в трёх независимых чертах от той, которую Логран видел вт. Но Логран клянётся, что помнит только сегодняшнюю».

И ниже:

«Логран, в отличие от Донована, правок в голове не заметил. Донован — заметил. Значит, Донован — особенный. Или — в его случае правку делали грубее».

И ещё ниже:

«Донован знает, что зелёное было в какой-то версии. Вчера он это пугливо отрицал. Сегодня — в столовой, за завтраком — проговорился Лограну. Значит, у него память тоже не стирается полностью. Как у меня».

И в самом низу страницы — жирно, карандашом:

«Нас, по-видимому, не один».

* * *

Он вышел из «Алгонкина» в четверть двенадцатого. На Западной сорок четвёртой шёл мелкий холодный дождь — обычный, ровный, сверху вниз. Хейз постоял под козырьком. Закурил.

Дождь падал на тротуар, расплывался, стекал в решётку ливневого стока. Ничего особенного.

Но Хейз смотрел на этот дождь, на каждую отдельную каплю, как на маленькое чудо. Обыкновенное, привычное, рабочее чудо падающей воды. И думал: пока он падает вниз, у них ещё есть время.

Он думал о Доноване. Пожилом портье, у которого вчера зелёное платье жены было живо в памяти, а сегодня сама жена оказалась жива. О том, что Донован — один из тех, как и он сам, чья память не до конца принимает правку. Значит, Донована тоже, возможно, стоит беречь. И значит, Донована надо найти до того, как им кто-нибудь ещё займётся.

Хейз затушил сигарету о каблук. Бросил окурочок в урну.

Прошёл через вращающуюся дверь обратно в вестибюль «Алгонкина». Подошёл к стойке.

Стойка была пуста.

Хейз подождал. Минуту. Две. Пять.

Потом заглянул в подсобку за стойкой. Там были только чайник, стопка газет и вешалка с форменным пиджаком.

Он вернулся к стойке. Позвонил в звонок — маленький медный звонок на стойке, для посетителей.

Из служебной двери вышел молодой человек лет двадцати пяти. В форменной рубашке и галстук. Аккуратный, с чёрными волосами, тщательно зачёсанными назад.

— Добрый день, сэр.

— Мне нужен мистер Донован. Портье.

Молодой человек посмотрел на Хейза с вежливым удивлением.

— Сэр, боюсь, тут какая-то путаница. Мистер Донован здесь не работает.

Хейз положил ладонь на стойку. Очень мягко, без шума.

— Он стоял тут позавчера вечером. И вчера вечером. И сегодня утром разговаривал с работником восьмого этажа Фрэнки Лограном в столовой.

— Сэр, я работаю в «Алгонкине» четыре года. Сменщиков тут, на дневной смене, — трое: я, Тобиас и старый мистер Пелегрини. Донована у нас никогда не было.

Хейз помолчал.

Он поднял глаза на стену за спиной молодого человека. Там, в рамках, висели фотографии старого персонала отеля — традиция, которую в «Алгонкине» заводили при каждом новом управляющем. Маленькая, скромная «доска почёта».

Он искал глазами на этих фотографиях сухое лицо с пробором и щёткой усов. Лицо человека, у которого вчера умерла жена в сорок девятом, а сегодня она была жива. Лицо портье, который знал, что позавчера на женщине было зелёное платье, и которому запретили об этом помнить.

Его на фотографиях не было.

Ни на одной.

На всех фотографиях портье дневной смены — в том числе и сегодняшней молодой человек, и тучный Тобиас, и старый мистер Пелегрини с аккуратной французской бородкой, — были другие. Никаких Донованов.

Хейз стоял у стойки и смотрел на эти фотографии.

И думал очень простую вещь.

Они уже забрали второго.

Того, кто мог стать для него свидетелем. Того, у кого память, как у Хейза, была слегка устойчива. Того, на кого Хейз минуту назад надеялся.

За то время, пока он курил под козырьком, — пропал и Донован.

Хейз поблагодарил молодого человека спокойным голосом, вышел из «Алгонкина», сел в машину. Завёл двигатель.

Положил руки на руль.

Сидел так минуту. Две. Три.

Потом открыл потайной блокнот и написал, очень крупно, во всю страницу, одно слово:

«ВОЙНА».

И поехал в участок — работать над обычным рапортом обычного дня в обычном Нью-Йорке, который, в отличие от него, этого слова ещё не знал.

Глава 7

Дождь идёт вверх

Четверг у Софьи Ленской начался, как всегда, с будильника в семь пятнадцать — старого «Биг-Бена», который она купила в сорок девятом, в первый нью-йоркский год, за три доллара в бакалейной лавке и с тех пор не меняла, потому что циферблат его звенел мягко, без истерики, а стрелки светились в темноте слабым зеленоватым светом, которого ей

хватало, чтобы в ночном полусне понять: рано, спи.

Но в то утро она проснулась раньше будильника. В шесть сорок. Проснулась так, как просыпаются люди, которые во сне о чём-то решили, — не от шума и не от холода, а от какой-то внутренней точки, в которую упёрся сон и не смог дальше.

Она лежала минуту, глядя в потолок. Потолок в её комнате был с лепниной двадцатых годов, в двух углах подтекал, в одном месте побелка осыпалась и виднелась прежняя, жёлтая, ещё из довоенных времён. Она давно собиралась попросить хозяйку, миссис О'Нил, поправить штукатурку, но миссис О'Нил была тугоухая и рассеянная, и проще было говорить с ней по субботам, когда та ходила в парикмахерскую.

Софья встала. Умылась холодной водой. Оделась — серая юбка, белая блузка, тёмно-синий шерстяной кардиган, подаренный отцом на прошлую Пасху. Заплела волосы в простой узел. Позавтракала — чай, бутерброд с сыром, половина яблока. Надела пальто и вышла.

На улице было сухо. Холодно, серо, но сухо. Небо над Восточной шестнадцатой висело низко, в плотных сизых облаках, которые в это утро ещё не обещали дождя, но обещали его к вечеру. Такое небо в Нью-Йорке бывало в октябре часто, и Софья его знала.

Она дошла до станции метро на Юнион-сквер. Спустилась. Купила у газетчика «Нью-Йорк Трибюн». Газетчик был знакомый, высокий сухой старик-грек по имени Димитриос,

который всегда говорил с ней двумя английскими словами и одним греческим. Сегодня он сказал:

— Доброе утро, мисс. Καλημέρα.

— Καλημέρα, Димитриос.

Это был их единственный обмен фразами на греческом, который повторялся каждое утро неизменно, и за эту неизменность Софья его любила.

В вагоне поезда линии «IRT», идущего на север, было тесно, пахло мокрой шерстью и машинным маслом. Она встала у двери, раскрыла газету на первой полосе. Читать не стала — просто смотрела на буквы, как смотрят люди, которые думают о своём, но не хотят встречаться глазами с чужими.

Она думала об отце и о вчерашнем его разговоре. О фразе «если встретишь пожилого японца — не говори с ним по-японски». О том, что отец за шесть лет нью-йоркской жизни ни разу не позволил себе такой прямой команды. Отец умел молчать, отец умел намекать, отец умел уводить разговор в сторону. Отец не умел приказывать — по крайней мере, ей.

И вот — приказал.

Она знала его лицо, когда он это говорил. В том лице — на кухне, над остывшим третьим чаем, — была ровная серьёзность, к которой она не привыкла. Не военная, не отеческая. А как у человека, который договорился с самим собой о чём-то давно и сегодня вынужден нарушить собственный договор ради неё, дочери.

Отец что-то знал.

И до сегодняшнего вечера, решила Софья, она не будет его об этом расспрашивать. Она даст ему день. Если он захочет продолжить — он сам подойдёт к ней в воскресенье, когда они обычно обедают вместе после его церкви. Если не захочет — она придумает, как начать разговор, не давя на него.

Поезд остановился на Центральном вокзале. Софья пересела на шаттл до Таймс-сквер. Оттуда — пешком, через Брайант-парк, к библиотеке.

В парке, на одной из скамеек, сидела женщина в тёмно-синем пальто и берете.

Софья прошла мимо — обычным шагом, не поворачивая головы, — но краем глаза отметила. Женщина сидела с газетой, сложенной вдвое. Она не читала. Газета была просто ширмой. Голова её была наклонена под тем углом, каким следят за кем-то, находящимся на периферии поля зрения.

«Я ошибаюсь, — сказала себе Софья. — Это обычная женщина, которая ждёт подругу. Мне показалось вчера вечером на площади, и мне показалось сейчас».

Она вошла в библиотеку. Поднялась по широкой мраморной лестнице на третий этаж. Открыла дверь отдела редких рукописей.

Села за свой стол.

Журнал поступлений лежал, где она оставила его вчера. Настольная лампа под зелёным абажуром. Ручки на подставке. Всё на месте.

Но ей сегодня было трудно работать. Дважды она перечитывала одну и ту же карточку и не могла вспомнить, на букву какого алфавита её ставить. В третий раз — уже над новой карточкой — её рука сама остановилась посреди строки. Она положила ручку. Встала. Подошла к служебному шкафу.

Папка лежала там, где она её оставила. Чёрная, на ремешках, в самом низу, под стопкой старых каталожных карточек.

Софья постояла перед шкафом. Не трогая.

Потом закрыла его. Вернулась за стол.

«Нет, — сказала она себе. — Я обещала себе, что не буду открывать. Обещала ему, и, главное, обещала себе. Я буду держать слово».

Она продолжила работать. День шёл, как обычно. Читателей было четверо: аспирант вчерашний, старуха-букинистка с Пятой авеню, молодой француз, работавший над чем-то о Монтене, и пожилой господин в твидовом пиджаке, от которого пахло трубочным табаком.

В час Софья пошла обедать — на этот раз в служебную, потому что на улице стало холоднее.

В половине второго, возвращаясь в отдел, она прошла по коридору мимо окна, выходящего на Пятую. За окном уже начинался дождь — мелкий, реденький, какой идёт перед настоящим осенним.

Она остановилась. Посмотрела.

Дождь шёл сверху вниз. Как положено.

Она пошла в отдел. Села за стол. Открыла следующую

карточку.

* * *

В отделе в тот день было тихо. К четырём часам все читатели ушли. Софья работала одна. За окнами медленно темнело — осенние сумерки в Нью-Йорке наступают быстро, в четыре уже загораются фонари, к пяти они — главный свет улицы.

В половине пятого у неё зазвонил внутренний телефон.

Это была Маргарет с первого этажа, дежурная по абонементу.

— Софи. У тебя есть минута?

— Да, Маргарет.

— Ко мне тут пришли спрашивать книгу на китайском — какой-то старый словарь. У нас на абонементе такого нет. Можешь сказать, на каком она этаже?

— Китайский у нас в восточном отделе, пятый этаж, у Джарретта. Он до шести.

— Спасибо, милая.

Маргарет повесила трубку. Софья тоже положила свою.

Она сидела секунду, глядя на телефон. Какое-то неприятное, очень слабое ощущение, которое появилось, когда Маргарет сказала «на китайском», — не оставляло её. Она не могла понять, почему.

Потом поняла.

Китайский. Который она знала. Который с детства, с Харбина, был у неё в голове одновременно с русским и англий-

ским. Который последние пять лет она в Нью-Йорке практически не слышала, потому что в библиотеке работала в русском и европейском разделе, и китайцы сюда приходили редко.

Отец сказал: «не говори с ним по-японски».

Он не сказал про китайский.

Но он упомянул японца.

Софья сидела ещё минуту, не двигаясь.

Потом встала, взяла пальто, замкнула ящики стола и прикрыла окно. Уходить было рано — до конца смены ещё час, — но тишина в отделе сегодня была такая, что в ней стало неприятно сидеть.

Она спустилась вниз, расписалась в журнале ухода на полчаса раньше, сказала Маргарет, что ей нездоровится, и вышла на Пятую.

* * *

Дождь за это время усилился.

Не ливень — но тот настоящий осенний дождь, который заставляет людей раскрывать зонты и тянуть на голову капюшоны. Улица блестела. По Пятой ехали жёлтые такси, разбрызгивая воду из луж. Вывеска «Бентвудс-букс» через дорогу отражалась в мокром асфальте оранжевой лужей света.

Софья постояла под козырьком библиотеки, раскрыла зонт — чёрный, простой, с деревянной ручкой, подаренный отцом в прошлом году, — и пошла вниз, к Сорок второй, к станции метро.

Она шла по левой стороне Пятой, прижимаясь ближе к домам, потому что так меньше брызгало. Слева от неё тянулись фасады магазинов: тканевый с манекенами в осенних шляпах, ресторан с меню в стеклянной витрине, антикварная лавка с тёмными интерьерами. Справа — тротуарный поток, машины, дождь.

Возле Сорок третьей она остановилась на светофоре.

У перехода скопилось человек шесть: две женщины с сумками от «Бонвита», мужчина в плаще с портфелем, молодая пара под одним зонтом и старый мужчина в плоской шляпе. Все стояли с зонтами, все смотрели на сигнал.

Светофор переключился. Люди пошли. Софья пошла со всеми.

Она сделала три шага — и остановилась.

Потому что что-то было неправильно.

Что-то в воздухе, в звуке, в свете. Что-то в дожде.

Она подняла глаза.

Над головой у неё — и над головами всех шестерых, которые шли рядом, — дождь шёл вверх.

Не вниз. Вверх.

Капли поднимались от асфальта, от полей зонтов, от плеч прохожих, от крыш припаркованных у тротуара машин — и летели в небо. Медленно. С той же скоростью, с какой они падали секунду назад, только в обратном направлении. Как будто кто-то в плёнке мира переставил одну катушку наоборот и поставил её обратно.

Она стояла посреди Пятой авеню, на переходе, с раскрытым зонтом, и смотрела вверх.

Вокруг неё — прохожие шли, как шли. Женщины с сумками обсуждали погоду. Мужчина с портфелем торопился. Молодая пара под одним зонтом смеялась чему-то. Старик в плоской шляпе обошёл застывшую Софью слева, буркнув «простите, мэм».

Никто из них не видел.

Капли летели вверх. Софья чувствовала их: они касались её лица снизу, её подбородка, её губ, — прохладные, обычные капли дождя, которые двигались не туда, куда должны.

Она стояла десять секунд. Может быть, пятнадцать. Не больше.

И так же внезапно, как началось, — кончилось. Капли снова посыпались сверху. Дождь стал обычным. Асфальт — мокрым. Машины — шумными.

Софья стояла посреди перехода. Светофор уже снова замигал. Сзади ей резко посигналили.

Она добежала до тротуара. Встала у витрины антикварной лавки. Пряталась под козырьком.

Сердце у неё билось так, что слышно было в ушах.

* * *

Она не поехала в метро.

Она прошла пешком двадцать кварталов — до Четырнадцатой, до Юнион-сквера, до дома. Шла под дождём, шла под зонтом, шла быстро, ничего не видя вокруг. Зашла в

квартиру. Сняла пальто — мокрое снизу. Поставила зонт у двери.

Села на кровать, в одежде, в мокрых чулках.

Сидела так минут десять.

Потом встала. Переоделась — в сухое. Заварила чай. Села у окна.

«Не думай, — сказала она себе. — Отложи на минуту. Сначала — чай. Сначала — тишина. Сначала — дыши».

Она пила чай. Смотрела в окно. За окном темнело. Дождь шёл вниз — ровный, обычный, как положено.

Когда пульс у неё успокоился, она сказала себе одну вещь, очень простую:

«Он сказал правду. Старик-японец сказал правду. Значит, всё остальное, что он говорил, — тоже правда. Значит, папка не случайна. Значит, в ней что-то есть, что касается меня. Значит — пора».

Она поставила чашку на подоконник.

Встала.

Подошла к шкафу, где лежало её зимнее пальто, в которое она завернула позавчера — когда принесла из библиотеки домой несколько старых своих каталожных записей, — ещё одну вещь, о которой не рассказывала ни отцу, ни хозяйке.

Из внутреннего кармана пальто она достала папку.

Ту самую. Чёрную. На ремешках. Тяжёлую.

Она забрала её из служебного шкафа в библиотеке два дня назад — в среду, к концу смены, когда вдруг поняла, что

оставлять её там не может, что папка принадлежит ей, и её нельзя держать в чужом месте. Она никому об этом не говорила, в журнал хранения её не вносила — потому что папка не принадлежала библиотеке. И с собой в комнату к миссис О'Нил она её тоже не показывала, потому что миссис О'Нил имела привычку без спроса открывать дверь и «прибираться».

Она унесла папку домой и положила в карман зимнего пальто, потому что зимнего пальто никто, кроме неё, не касается. Это была своего рода временная мера, до которой у неё ещё не было плана.

Сейчас она села с папкой за маленький круглый стол в углу комнаты. Поставила настольную лампу. Положила папку перед собой.

Посмотрела на ремешки. Две тонких кожаных полоски, пряжки — медные, потускневшие. Простые. Никакой печати, никакой сургучной, никакой восковой.

Софья сделала глубокий вдох.

Расстегнула первую пряжку. Потом вторую.

Раскрыла папку.

* * *

Внутри было то, чего она не ждала и, одновременно, то, что она, кажется, ждала всю свою жизнь.

Первое, что она увидела, — это карта. Нью-Йорк, выполненная от руки на большом листе плотной бумаги, цветными чернилами — чёрной тушью для кварталов и улиц, красной — для каких-то особых точек, которых на карте было около

двадцати. Среди точек — одна была в том самом здании, где она работала: Публичная библиотека, на пересечении Пятой и Сорок второй. Ещё одна — на Восточной шестнадцатой, прямо там, где стоял её дом. Ещё одна — у её отца, на Гранд-стрит. Ещё одна — в «Алгонкине», на Западной сорок четвёртой. Ещё одна — на Западной семьдесят второй, отмеченная тонким кружком, подписанным крошечной цифрой «4/A».

У каждой точки была подпись по-русски, мелко, каллиграфическим почерком человека, которого учили писать перьями ещё в прошлом веке.

У точки библиотеки было написано: «Ленская С. В. Архивариус-наследница».

У точки на Восточной шестнадцатой: «жилище».

У точки на Гранд-стрит: «отец. Вл. П. Ленский».

У точки в «Алгонкине»: «узел: первое убийство».

У точки на Западной семьдесят второй: «Хейз А., детектив. Наблюдение в параллельной линии. Возможная связь: не ранее главы 4 линии».

Она прочитала это дважды.

Потом — третий раз.

Она не поняла слова «главы». Она не поняла слова «линия». Но она поняла имя — Хейз — и профессию — детектив. И поняла «первое убийство». И поняла, что рядом с её собственной точкой стоит слово «архивариус-наследница», значение которого ей было неизвестно, но которое поче-

му-то, от одного его русского звучания, вызывало у неё холод в позвоночнике — такой, какой бывает от неуместно-точно-го попадания.

Она отложила карту в сторону.

Под картой — стопка листов. Тонкой бумаги, похожей на папиросную. На листках — от руки, мелко, тем же каллиграфическим почерком, — список имён. Каждый листок — одно имя и несколько строчек.

Первый листок.

«Ленская Ольга Фёдоровна (урождённая Иртенева). Родилась 4 марта 1901 года в Санкт-Петербурге. Умерла 17 сентября 1948 года на борту парохода “Президент Кливленд”, Тихий океан. Официальная причина — тиф. Настоящая причина — правка. Была активным хранителем. Выбрана в 1943 году. В Харбине. Наставник — Юкимура Исаму».

Софья перечитала это имя.

«Ленская Ольга Фёдоровна».

Её мать.

Её мать, которая умерла на пароходе в сорок восьмом.

Её мать, про которую всё это время говорили — тиф.

«Настоящая причина — правка».

Софья очень медленно положила листок обратно в папку. Руки у неё подрагивали, но не сильно — она умела держать руки в минуту плохого известия, потому что один раз уже держала их так, стоя на палубе «Президента Кливленда», когда матрос вежливо, поклонившись, принёс ей отцовское

пальто, в кармане которого лежала её, Соньина, маленькая детская фотография с материнного комода.

Она не стала читать второй листок. И третий. И карту не стала перечитывать.

Она встала. Прошла в угол комнаты. Постояла там минуту, глядя в стену.

Потом вернулась к столу. Застегнула папку — две пряжки, одну за другой. Положила обе руки на папку сверху. Посидела так.

В голове у неё был ровный, почти телеграфный рассказ: «мама была хранителем. Мама погибла не от тифа. Мама умерла потому, что её стёрли. Я — наследница. Я в этой папке обозначена как “наследница” — значит, предполагается, что я продолжу. Этот японец — не случайный. Этот японец, по всей вероятности, Юкимура Исаму, наставник матери. И он приходит ко мне ровно с той целью, с которой в своё время приходил к маме. Отец знал. Отец предупреждал меня вчера — не от того, что сходит с ума. От того, что он всё это видел раньше».

Софья не плакала. Она узнала слишком много за слишком короткое время, и слёзы в такие минуты обычно не приходят — они приходят потом, через день, через три, когда начинаешь понимать тело новостей, а не их скелет.

Она думала о другом.

Она думала о детективе Хейзе, которого никогда в жизни не видела и не слышала, и который в этой папке был обозна-

чен кружком на Западной семьдесят второй и словами «наблюдение в параллельной линии. Возможная связь: не ранее главы 4».

«Главы».

Это слово упиралось в её сознание, как палец упирается в стену. Что значит «глава»? У книги — глава. У отчёта — глава. У плана — может быть глава. Значит, у того, кто писал эту папку, был какой-то план, разбитый на главы, и в этом плане она, Софья, и детектив Хейз, и Юкимура, и убийство в «Алгонкине» — все были элементами чего-то, распланированного и расписанного заранее.

Эта мысль была почти страшнее, чем мысль о матери.

Потому что — если кто-то всё это написал заранее, — значит, у этого кого-то есть замысел, а у замысла — цель. И, значит, Софья Ленская, сидящая за маленьким круглым столом у себя в квартирке на Восточной шестнадцатой, — не случайность.

Она — часть.

Она не знала, хорошая это часть или плохая. Не знала, что ей делать. Не знала, к кому идти.

Можно было — к отцу. Можно было — в полицию. Можно было — в газету.

Но она знала уже, в ту же минуту, что не пойдёт ни к кому. Потому что в комнате, где она сидела, было что-то ещё. Запах.

Она поняла это только в эту секунду.

Очень слабый. Почти на грани. Тонкий, свежий, чуть металлический, как воздух после грозы в горах.

Она его не знала раньше.

Она его узнала сейчас — так, как узнают запах человека, которого никогда не видели, но о котором слышали.

Запах был в комнате.

В её собственной комнате, в которую сегодня не заходил никто, кроме неё.

Софья очень медленно посмотрела на дверь. Дверь была закрыта. Цепочка накинута. На коврике — её туфли, её зонт.

Посмотрела на окно. Окно было закрыто. Занавески — те же, какие она задёрнула час назад.

Посмотрела на стены. Стены были обыкновенные.

И всё же кто-то был. Или был. Или будет. Или прошёл по её комнате, пока она пила чай у окна, и оставил после себя эту тонкую, почти несуществующую метку воздуха.

Софья протянула руку, выключила настольную лампу. Сидела в темноте.

Потом — и это было решение, которого она сама от себя не ожидала, — встала, подошла к столу, снова зажгла лампу. Взяла карандаш. Взяла один из чистых листов, которые у неё хранились в ящике для писем отцу.

И на этом листе — чистом, белом, её — написала одну фразу. Крупно. Сверху вниз. По-русски.

«Я открыла. Я слышу. Если ты — тот, кто оставил папку, — приходи».

Положила этот лист на середину стола.

Потом выключила лампу и, не раздеваясь, легла на кровать. Легла лицом к двери, чтобы видеть её. Натянула на себя шерстяное покрывало.

Лежала так с открытыми глазами.

За окном дождь лил ровно, сверху вниз, с тем глухим, убавляющим шумом, который в Нью-Йорке осенью становится звуковым фоном всякой мысли.

Софья лежала и ждала.

Она сама не знала, чего.

Может быть — стука.

Может быть — записки наутро.

Может быть — ничего.

Ей было страшно и — одновременно — спокойнее, чем когда-либо за последние шесть лет.

Потому что впервые с того дня, когда матросы с парохода привезли ей мамино пальто с детской фотографией в кармане, она точно знала: мама не умерла от тифа. И мама была — кем-то. И что бы Софья ни решила в следующие дни, недели, годы, — она решала это уже не одна. Она решала это как дочь своей матери. Как дочь — уже не просто русской беженки, а хранителя.

Слово «хранитель» она произнесла вслух, по-русски, очень тихо, как пробу.

Оно ей неожиданно подошло.

Она закрыла глаза.

Не засыпая. Но в первый раз за двое суток — отдыхая.

* * *

Наутро, когда она проснулась — на кровати, в той же одежде, в которой легла, — на середине стола, там, где она положила свой лист, лежало что-то.

Что-то маленькое.

Она встала, подошла.

Это был лист её собственной бумаги — тот самый, что она положила вечером. Её фраза по-русски — «Я открыла. Я слышу. Если ты — тот, кто оставил папку, — приходи» — была на месте, её почерком, её карандашом.

Под её фразой, снизу, тем же каллиграфическим почерком, что и подписи в папке, было приписано две строчки. По-русски. Другим карандашом — чуть мягче.

«Правильно. Рано.

Осенью начнётся. Зимой станешь».

Софья посмотрела на эту запись.

Посмотрела на дверь — цепочка накинута, туфли её на коврик, зонт у стены.

Посмотрела на окно — закрыто, занавески задёрнуты, как она оставила.

Посмотрела снова на лист.

«Осенью начнётся. Зимой станешь».

Сейчас стояла середина октября. Осень уже шла.

Значит, по этому короткому письму, — уже началось.

Софья очень аккуратно, двумя пальцами за угол, подняла

лист со стола. Сложила вдвое. Спрятала во внутренний карман своего зимнего пальто — туда же, где сутки назад лежала папка, — рядом с самой папкой.

Потом оделась. Заплела волосы. Положила в сумку термос, бутерброд и газету, которую не успела вчера прочитать.

И пошла на работу.

По Восточной шестнадцатой, на Юнион-сквер, в метро, через город, на Пятую, в библиотеку.

Шла обыкновенным шагом, обыкновенной походкой, в обыкновенной юбке и в обыкновенном тёмно-синем кардигане.

Ничто в ней внешне не изменилось.

Внутри — тоже не изменилось.

Просто в ней теперь жило ещё одно знание, которое, как знала Софья, уже никогда её не оставит.

Знание того, что осенью — уже идущей — начнётся.

И что к зиме — она станет.

Кем — она пока не понимала.

Но, впервые в жизни, ей стало интересно прожить это до конца.

Глава 8

Два «я»

Пятница началась для Хейза с того, что он очень тщательно осмотрел собственную квартиру. Не потому, что подозревал чужих, — чужие, если приходят в квартиру, заметны го-

раздо хуже, чем кажется в кино, и Хейз по опыту знал, что надёжнее всего искать следы через изменения собственных привычек, — а потому, что за последние сутки в его жизни наметилась одна линия, которая его беспокоила. Листки в кармане. Один утром, второй вечером. Написанные его почерком. Текстами, которые он не писал.

Самая ранимая гипотеза, о которой он предпочитал пока не думать всерьёз, была такой: листки пишет он сам. Не этот он, сидящий сейчас в кухне перед остывшим чайником, — а какой-то другой он, какой-то параллельный, какой-то из предыдущей попытки. И способ, которым этот другой он подкладывает себе в карман записки, этому, сегодняшнему, пока неизвестен. Но этот другой — существует. Этот другой — уже жил этот день. И этот другой — его, Хейза, предупреждает.

«Его зовут Ланге».

«Он приходит ночью. Всегда».

«Не доверяй Хартману».

«Береги Элен».

Он стоял посреди кухни, в штанах и рубашке, и смотрел на полку, где у него лежали несколько старых записных книжек — рабочих, подшивки пятьдесят второго, пятьдесят третьего, пятьдесят четвёртого. Аккуратно сложенные стопкой. Поверх — чистая коробка с запасными карандашами. Всё на местах. Никаких следов того, что кто-то здесь трогал.

Он снял все три блокнота с полки. Пролистал каждый.

Искал нехарактерные страницы — вклейки, разрывы, чужой почерк. Ничего. Собственные рапорты, собственные пометки, собственный тупой карандашный след.

Поставил блокноты обратно. Точно в том же порядке.

Подошёл к шкафу с одеждой. Открыл дверцу.

Шкаф был узкий, двухстворчатый, послевоенного производства, с несколькими полками вверху и с вешалкой внизу. На вешалке — четыре костюма (два серых, один тёмно-синий, один коричневый, который он не носил уже два года и собирался отдать в бедные), две пары брюк, два пиджака, одно чёрное пальто — то самое, в котором он был вчера вечером в «Вестсайде». На полке — сложенные рубашки, галстуки в деревянной шкатулке, стопка платков с меткой К. Х. (Кэтрин Хейз — она когда-то вышила ему их на Рождество сорок седьмого), пять пар носков, свёрнутых в шарики.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.